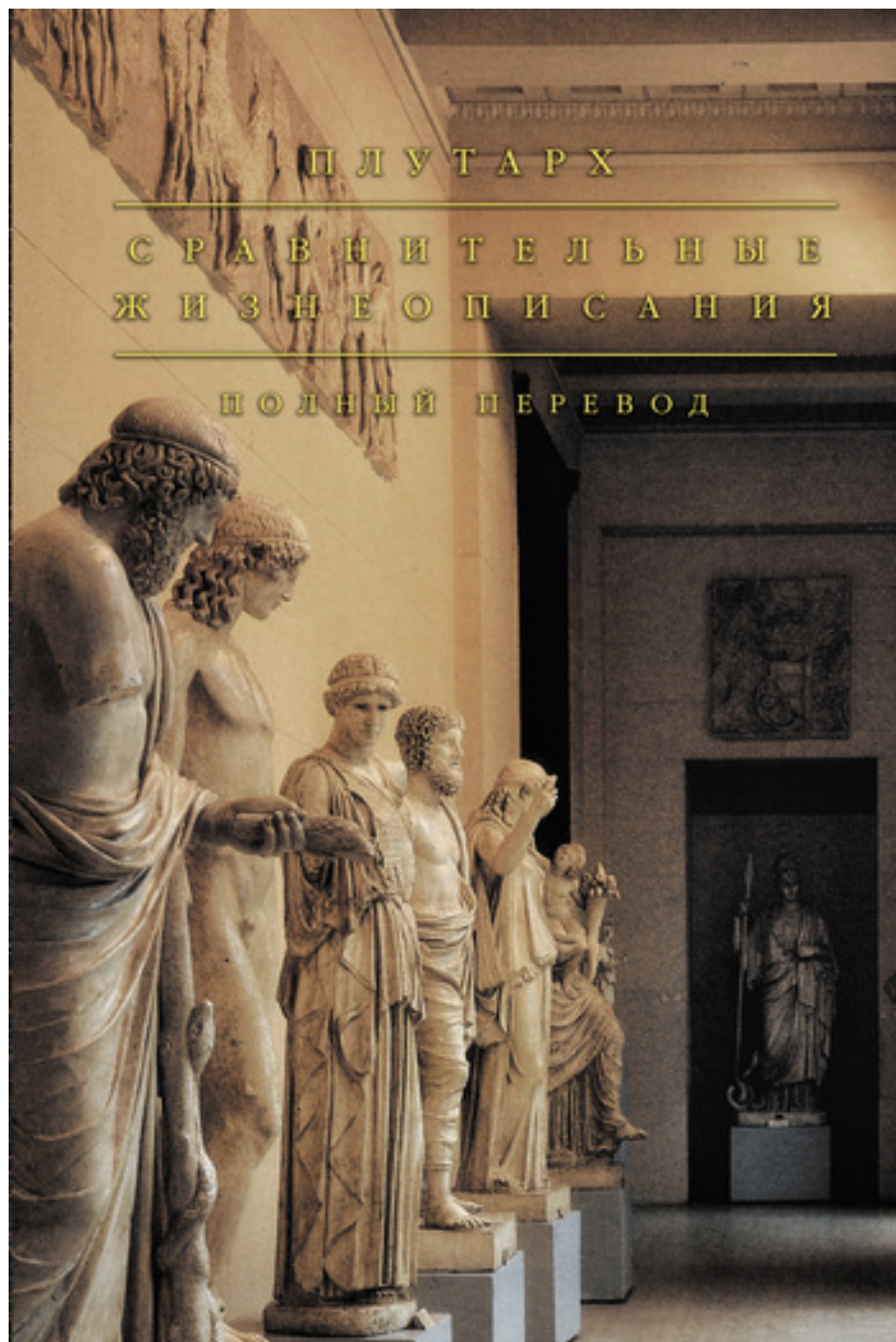


ПЛУТАРХ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД



Плутарх

Сравнительные жизнеописания

«ЭКСМО»

Плутарх

Сравнительные жизнеописания / Плутарх — «Эксмо»,

«Жизнеописания» Плутарха не только в античную эпоху, но и в новое время стали излюбленным чтением образованных людей и оказали сильнейшее влияние на литературу. Его высоко ценили философы Монтень и Руссо, на основе биографий Плутарха Шекспир создал свои римские трагедии «Кориолан», «Юлий Цезарь» и «Антоний и Клеопатра». Корнель и Расин заимствовали у Плутарха сюжеты своих драм. В России «Жизнеописания» Плутарха неоднократно издавались в различных составах. Данное издание воспроизводит именно первый полный перевод с древнегреческого, сделанный Спиридоном Дестунисом. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

© Плутарх

© Эксмо

Содержание

Плутарх и его «Сравнительные жизнеописания»	5
Сравнительные жизнеописания	16
Краткое известие о сочинениях и жизни Плутарха	16
Тесей и Ромул	28
Тесей	28
Ромул	42
Сравнение Тесея с Ромулом	57
Ликург и Нума	61
Ликург	61
Нума	77
Сравнение Ликурга с Нумой	90
Солон и Попликола	94
Солон	94
Попликола	110
Конец ознакомительного фрагмента.	117

Плутарх

Сравнительные жизнеописания

Плутарх и его «Сравнительные жизнеописания»

«*Genus scripturae leve et non satis dignum*» – «Жанр легковесный и недостаточно почтенный» – так обобщил Корнелий Непот, римский писатель I века до н. э., отношение своих соотечественников (и не только их одних) к жанру биографии. Да и сам автор этих слов, хотя и является составителем биографического сборника «О знаменитых мужах», по существу, не спорит с этим мнением, оправдывая свой жанровый выбор исключительно любопытством к мелочам быта разных народов. Возможно, отношение древних к жанру биографии так и не изменилось бы, а значит, до наших дней дошло бы еще меньше ее образцов, если бы не Плутарх.

На фоне многих античных писателей и поэтов, жизнь которых изобилует драматическими и трагическими событиями, а признание читателей далеко не всегда приходит при жизни, человеческая и писательская судьба Плутарха сложилась на удивление благополучно. Хотя античная традиция и не сохранила для нас ни одной его биографии, но сам Плутарх так охотно и много пишет о себе, своей семье и событиях своей жизни, что его жизнеописание легко восстанавливается по его же произведениям*.

Чтобы разобраться в творчестве писателя, надо очень хорошо представлять себе, где и когда он жил. Так вот, Плутарх жил в I–II веках н. э., в завершающую эпоху древнегреческой литературы, которую принято называть «периодом римского владычества». И высокая классика, с ее великими драматургами, ораторами и историками, и причудливый эллинизм, с его учеными поэтами-экспериментаторами и оригинальными философами, остались далеко позади. Конечно, и в римский период греческая литература имеет своих представителей (Арриан, Аппиан, Иосиф Флавий, Дион Кассий, Дион Хрисостом и др.), но ни они сами, ни потомки не могут поставить их вровень с Софоклом, Фукидидом или Каллимахом, да и литература сдает свои позиции как «наставница жизни» и выполняет в основном декоративно-развлекательные функции. На этом фоне еще ярче вырисовывается фигура нашего писателя.

Итак, Плутарх родился около 46 года н. э. в беотийском городе Херонее, некогда печально знаменитом событиями 338 года до н. э., когда Греция под натиском военной мощи Филиппа Македонского потеряла свою самостоятельность. Ко времени Плутарха Херонея превратилась в захолустный городок, а сама Греция еще раньше – в римскую провинцию Ахайя, к которой римляне относились несколько мягче, чем к другим завоеванным странам, отдавая дань уважения ее высокой культуре, что не мешало им называть население Греции пренебрежительным словечком *Graeculi* – «гречишки». В этом городке Плутарх и прожил почти всю свою жизнь. О своей привязанности к родному городу он с легкой шуткой сообщает во вступлении к биографии Демосфена, и едва ли хоть одна книга или статья о херонейском писателе обходится без этих слов – так они искренни и притягательны: «Правда, кто взялся за исторические изыскания, для которых требуется перечитать не только легкодоступные, отечественные, но и множество иноземных, рассеянных по чужим краям сочинений, тому действительно необходим «град знаменитый и славный», просвещенный и многолюдный: только там, имея в изобилии всевозможные книги... он сможет издать свой труд с наименьшим числом погрешностей и пробелов. *Что до меня, то я живу в небольшом городке и, чтобы не сделать его еще меньше, собираюсь в нем жить и дальше...*» (Перев. Э. Юнца). Эти слова сказаны в ту самую эпоху, когда греческие писатели избирали местом жительства крупные культурные центры, прежде всего, Рим или Афины, либо вели жизнь гастролирующих софистов, путешествуя по разным городам обширной Римской империи. Конечно, Плутарх, с его любознательностью, широтой интере-

сов и живым характером, не мог всю жизнь безвыездно просидеть дома: он побывал во многих городах Греции, дважды был в Риме, посетил Александрию; в связи со своими научными изысканиями он нуждался в хороших библиотеках, в посещении мест исторических событий и памятников старины. Тем более замечательно, что он сохранил свою преданность Херонее и большую часть жизни провел в ней.

Из сочинений самого Плутарха мы узнаем, что семья его принадлежала к состоятельным кругам города и что его имущественное положение было не роскошным, но стабильным. Дома он получил обычное для представителей его круга грамматическое, риторическое и музыкальное образование, а для его завершения поехал в Афины, считавшиеся и во времена Плутарха культурным и просветительным центром. Там под руководством философа академической школы Аммония он совершенствовался в риторике, философии, естественных науках и математике. Мы не знаем, как долго пробыл Плутарх в Афинах, известно лишь, что он был свидетелем посещения Греции римским императором Нероном в 66 году и иллюзорного «освобождения» этой провинции*.

По возвращении в Херонею Плутарх принимает деятельное участие в ее общественной жизни, возрождая не только в своих произведениях, но и на личном примере классический идеал полисной этики, предписывающей каждому гражданину практическое участие в жизни родного города. Будучи еще молодым человеком, он по поручению херонейцев отправляется к проконсулу провинции Ахайя, и это событие послужило началом той связи с Римом, которая оказалась важной и для жизни Плутарха, и для его литературной деятельности. В самом Риме, как уже говорилось, Плутарх побывал дважды, причем первый раз – послом от Херонеи по каким-то государственным делам. Там он выступает с публичными лекциями, участвует в философских беседах, завязывает дружбу с некоторыми образованными и влиятельными римлянами. Одному из них, Квинту Сосию Сенециону другу императора Траяна, он посвятил впоследствии много своих трудов (в том числе и «Сравнительные жизнеописания»). По-видимому, Плутарх был хорошо принят и при императорском дворе: Траян удостоил его звания консуляра и велел правителю Ахайи в сомнительных случаях прибегать к советам Плутарха. Не исключено, что при Адриане он и сам в течение трех лет был прокуратором Ахайи.

Нужно сказать, что при всей своей лояльности к Риму, отличавшей его от других оппозиционно настроенных писателей, Плутарх не питал политических иллюзий и ясно видел суть реальных взаимоотношений Греции и Рима: именно ему принадлежит знаменитое выражение о «римском сапоге, занесенном над головой каждого грека» («Наставления государственному мужу», 17). Вот почему все свое влияние Плутарх старался обратить на пользу родному городу и Греции в целом. Выражением этого влияния было получение им римского гражданства, о чем мы узнаем, вопреки обыкновению, не из собственных сочинений Плутарха, а из надписи об установке статуи пришедшего к власти императора Адриана, выполненной под руководством жреца *Местрия* Плутарха. Имя Местрий было дано Плутарху при получении римского гражданства: дело в том, что присвоение римского гражданства рассматривалось как адаптация каким-либо из римских родов и сопровождалось присвоением адаптируемому соответствующего родового имени. Плутарх, таким образом, стал представителем рода Местриев, к которому принадлежал его римский друг Луций Местрий Флор. Как и Сенецион, он часто выступает в качестве персонажа литературных сочинений Плутарха. Для гражданской позиции Плутарха чрезвычайно характерно то, что этот писатель, столь охотно рассказывающий о других, гораздо менее значительных, событиях своей жизни, нигде не упоминает о том, что стал римским гражданином: для себя самого, для читателей и для потомства он хочет остаться только жителем Херонеи, на благо которой были направлены все его помыслы.

В зрелые годы Плутарх собирает в своем доме молодежь и, обучая собственных сыновей, создает своего рода «частную академию», в которой играет роль наставника и лектора. В пятидесятилетнем возрасте он становится жрецом Аполлона в Дельфах, этом самом знаменитом

святилище былых времен, без совета которого некогда не предпринималось ни одно важное дело – ни государственного, ни частного характера – и которое в эпоху Плутарха стремительно утрачивало свой авторитет. Отправляя обязанности жреца, Плутарх старается вернуть святилищу и оракулу его бывшее значение. Об уважении, которое он заслужил от своих соотечественников, пребывая на этом посту, свидетельствует надпись на постаменте статуи, найденном в Дельфах в 1877 году:

Здесь Херонея и Дельфы совместно Плутарха воздвигли:
Амфиктионы его так повелели почтить.

(Перевод Я. М. Боровского)

О годах глубокой старости, приведших Плутарха в большую политику, он говорит неохотно, и мы узнаем о них из поздних и не всегда надежных источников. Точная дата смерти Плутарха неизвестна, вероятно, он скончался после 120 года.

Плутарх был весьма плодовитым писателем: до нас дошло более 150 его сочинений, но античность знала вдвое больше!

Все огромное литературное наследие Плутарха распадается на две группы: так называемые «Нравственные сочинения» (*Moralia*) и «Жизнеописания». Первой группы мы коснемся лишь потому, что знакомство с ней помогает пониманию личности Плутарха и философско-этической основы его биографического цикла.

Широта интересов Плутарха и невероятное тематическое разнообразие его «Нравственных сочинений» делают даже беглый их обзор делом весьма нелегким: не считая произведений, авторство которых считается сомнительным, эта часть наследия Плутарха составляет более 100 сочинений. С точки зрения литературной формы они представляют собой диалоги, диатрибы*, письма и собрания материалов. При этом лишь к ограниченному числу трактатов приложим термин *Moralia* в точном смысле. Это ранние сочинения о влиянии на человеческие поступки таких сил, как доблесть, добродетель, с одной стороны, и воля судьбы, случайность – с другой («О счастье или доблести Александра Великого», «О счастье римлян»), диатрибы, письма и диалоги о семейных добродетелях («О братской привязанности», «О любви к детям», «Брачные наставления», «О любви»), а также послания-утешения (например, «Утешение к жене», которое Плутарх написал, получив известие о смерти дочери). К «Моралиям» в собственном смысле примыкает ряд трактатов, в которых Плутарх разъясняет свою позицию по отношению к различным этическим учениям. Как и большинство позднеантичных мыслителей, Плутарх не был оригинальным философом, основателем новой философской школы, а, скорее, склонялся к эклектизму, отдавая предпочтение одним направлениям и полемизируя с другими. Так, полемический характер имеют многочисленные произведения, направленные против эпикурейцев («О невозможности жить счастливо, следуя Эпикуру», «Правильно ли изречение: “Живи незаметно”»? и стоиков («Об общих понятиях», «О противоречиях стоиков»). Нередко свои философские предпочтения Плутарх излагает в виде толкований на сочинения Платона, к последователям которого он причислял себя сам, или в виде трактатов, посвященных отдельным философским проблемам («Платоновские изыскания»). Существенными для понимания мировоззрения Плутарха являются так называемые «Дельфийские диалоги» – сочинения, в которых писатель излагает свое представление о мире и его законах, о действующих в нем божественных и демонических силах, – а также трактат «Об Исиде и Осирисе», в котором Плутарх делает попытку связать собственные размышления о божестве и о мире с египетскими мифами и культами.

Наряду с этими сочинениями «Моралии» включают произведения, которые с современной точки зрения не имеют отношения к этическим проблемам. Они посвящены математике, астрономии, физике, медицине, музыке и филологии. Также в эту часть наследия Плутарха

входят сочинения в форме описания пиров, затрагивающие вопросы литературы, истории, естествознания, грамматики, этики, эстетики и другие («Застольные беседы» в девяти книгах и «Пир семи мудрецов»*), собрание новелл «О доблестях женщин», весьма характерное для личности Плутарха, а также произведения историко-антикварного характера (например, «Древние обычаи спартанцев»), послужившие впоследствии материалом для «Жизнеописаний», и, наконец, не менее важные для понимания последних сочинения на политические темы («Политические наставления», «Должны ли старики участвовать в государственной деятельности», «О монархии, демократии и олигархии»).

Само собой разумеется, что столь импозантное творческое наследие, даже без «Сравнительных жизнеописаний», могло бы прославить в веках херонейского писателя, однако европейским читателям, начиная с эпохи Возрождения, он стал известен именно и по преимуществу как автор биографического цикла. Что же касается «Моралий», то, оставаясь объектом внимания в основном для специалистов в области античной культуры, они тем не менее совершенно необходимы для понимания философско-этических и политических воззрений Плутарха-биографа.

Как уже говорилось, Плутарх был эклектиком, причем в этом направлении его подталкивали и господствующие умонастроения эпохи, допускавшие самые удивительные смешения идей, и собственная гибкость и восприимчивость. В его мировоззрении причудливо соединялись элементы этических систем как почитаемых им платоников и перипатетиков, так и оспариваемых им эпикурейцев и стоиков, учения которых он в некоторых случаях излагает в переработанном виде. По Плутарху, человек вместе со своей семьей и людьми, за которых он несет ответственность, имеет этические обязательства по отношению к двум системам: к своему родному городу, в котором он осознает себя наследником бывшего эллинского величия, и к значительно более универсальному образованию – Римской империи (в обоих случаях образом безукоризненного исполнения этих обязательств был он сам). В то время как большинство греческих писателей относятся к Риму холодно и равнодушно, Плутарху Римская империя представляется как синтез двух начал – греческого и римского, и наиболее ярким выражением этого убеждения является основной принцип построения «Сравнительных жизнеописаний», с их постоянным методом сравнения выдающихся деятелей обоих народов.

Под углом зрения двойного обязательства человека по отношению к родному городу и к Римской империи Плутарх разбирает основные этические проблемы: самовоспитание, обязанности по отношению к родным, взаимоотношения с женой, с друзьями и т. д. Для Плутарха добродетель – нечто такое, чему можно обучить, поэтому не только «Нравственные сочинения» испещрены моральными предписаниями и советами, но и «Жизнеописания» проникнуты дидактизмом. При этом он весьма далек от идеализации, от желания сделать своих героев ходячими образцами чистой добродетели: здесь ему помогают здравый смысл и добродушная снисходительность.

Вообще особенностью Плутарховой этики является дружелюбно-снисходительное отношение к людям. Термин «филантропия», появляющийся в греческой литературе начиная с IV века до н. э., именно у него достигает полноты своего значения. У Плутарха в это понятие включается и дружелюбное отношение к людям, основанное на понимании присущих им слабостей и нужд, и осознание необходимости поддержки и действенной помощи бедным и слабым, и чувство гражданской солидарности, и доброта, и душевная чуткость, и даже просто вежливость.

Семейный идеал у Плутарха основан на своеобразном и почти исключительном для античной Греции отношении к женщине. Он очень далек и от пренебрежения интеллектуальными возможностями женщины, столь распространенного в архаической и классической Греции, и от поощрения эмансипации того типа, на который жалуется Ювенал и другие римские писатели. Плутарх видит в женщине союзницу и подругу мужа, стоящую отнюдь не ниже его,

но имеющую собственный круг интересов и обязанностей. Любопытно, что свои труды Плутарх в некоторых случаях адресует именно женщинам. Наконец, совсем уж необычным для представлений о традиционном греческом быте было перенесение всей поэзии любви именно в сферу семейных отношений. Отсюда – внимание Плутарха к брачным обычаям Спарты, и то, что, рассуждая о Менандре, он подчеркивает роль любовных переживаний в его комедиях, и, конечно, то, что, говоря о происхождении героев своих «Сравнительных жизнеописаний», он с таким почтением отзывается об их матерях, женах и дочерях (ср. «Гай Марций», «Цезарь», «Братья Гракхи», «Попликола»).

Переход от философско-этических трактатов к литературной биографии объясняется, по-видимому, тем, что рамки первых стали тесны для литературного таланта Плутарха, и он обратился к поиску других художественных форм для воплощения своих этических идей и своей картины мира. Подобное уже случалось в античной литературе: философ-стоик Сенека, автор трактатов и нравоучительных посланий, литературный дар которого также толкал его к поиску новых форм, в определенный момент избрал в качестве иллюстрации стоической доктрины драматический жанр и посредством мощных трагических образов продемонстрировал пагубность человеческих страстей. Оба великих писателя понимали, что воздействие художественных образов намного сильнее прямых наставлений и увещаний.

Хронология Плутарховых сочинений до сих пор не выяснена до конца, однако очевидно, что к биографическому жанру он обратился уже вполне сложившимся писателем, завоевавшим себе имя своими этико-философскими сочинениями. Для греческой литературы биографический жанр был явлением относительно новым: если гомеровские поэмы – первые образцы эпоса – датируются VIII веком до н. э., то первые литературно оформленные биографии появляются только в IV веке до н. э., в период острого социального кризиса и усиления индивидуалистических тенденций в искусстве вообще и в литературе в частности. Именно жизнеописание отдельной личности – в противовес укоренившейся в греческой литературе веком раньше историографии – стало одним из признаков новой эпохи – эллинистической. К сожалению, образцы эллинистической биографии сохранились в лучшем случае в виде фрагментов, а в худшем – только в виде названий утраченных произведений, но даже по ним мы можем составить представление о том, кто находился в фокусе интереса древнейших биографов; это были по преимуществу монархи или профессиональные деятели культуры – философы, поэты, музыканты*. Сближение этих двух типов базируется на извечном интересе простых людей не столько к деятельности, сколько к частной жизни знаменитостей, вызывающих подчас самые разные эмоции – от восхищения до презрения. Поэтому над всей эллинистической биографией господствовал дух сенсации и любопытства, стимулировавший появление разного рода легенд и даже сплетен. В дальнейшем греческая биография в основном оставалась верной заданному направлению, передавая впоследствии эстафету Риму. Достаточно бегло взглянуть на перечень биографических сборников поздней античности, чтобы понять, что этот жанр не брезговал никем: от весьма почтенных философов-чудотворцев (вроде Пифагора и Аполлония Тианского) до блудниц, чудаков (вроде легендарного человеконенавистника Тимона) и даже разбойников!¹ Даже если в поле зрения позднеантичных биографов попадали просто «великие» люди (Перикл, Александр Македонский), то и из них старались сделать героев пикантных анекдотов или курьезных историй. Такова общая тенденция жанра. Конечно, не все биографы одинаковы, да и далеко не всех представителей этого жанра мы знаем. Были и вполне серьезные авторы, сочинявшие не только для того, чтобы потешить своих читателей новоиспеченной сплетней или придворным скандалом. Среди них младший современник Плутарха римский писатель Светоний, автор знаменитых «Жизнеописаний двенадцати цезарей»: в своем стрем-

¹ См.: Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография. М., Наука, 1973. С. 165–174.

лении к объективности он превращает каждую из двенадцати биографий в каталог добродетелей и пороков соответствующего персонажа, объектом его внимания является прежде всего факт, а не сплетня или вымысел*. Но и для него, как видим, интересны прежде всего *цезари*, то есть монархи, носители единоличной власти. В этом отношении Светоний всецело находится в рамках традиционной греко-римской биографии.

Что касается Плутарха, то до знаменитых «Сравнительных жизнеописаний» он стал автором гораздо менее известных биографических циклов, дошедших до нас лишь в виде отдельных биографий*. В этих ранних биографиях наш писатель также не смог уйти от традиционной тематики, сделав своими героями римских цезарей от Августа до Вителлия, восточного деспота Артаксеркса, нескольких греческих поэтов и философа Кратета.

Совершенно иначе обстоит дело с тематикой «Сравнительных жизнеописаний», и именно в отборе героев, в первую очередь, проявилось новаторство Плутарха². В этом цикле, как и в «Нравственных сочинениях», сказалась морализаторская и дидактическая установка автора: «Добродетель своими делами приводит людей тотчас же в такое настроение, что они в одно время и восхищаются делами ее, и желают подражать совершившим их... Прекрасное влечет к себе самым действием своим и тотчас вселяет в нас стремление действовать», – пишет он во вступлении к биографии Перикла («Перикл», 1–2. Перев. С. Соболевского). По этой же причине Плутарх, при всей своей учености, склонности к антикварным штудиям и любовании стариной, отдает предпочтение биографическому жанру перед историографией, о чем также недвусмысленно заявляет: «Мы пишем не историю, а жизнеописания, и не всегда в самых славных деяниях бывает видна добродетель или порочность, но часто какой-нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых гибнут десятки тысяч, руководство огромными армиями или осады городов». («Александр», 1. Перев. М. Ботвинника и И. Перельмута).

Итак, в своих героях Плутарх ищет прежде всего образцы для подражания, а в их поступках – примеры деяний, на которые следует ориентироваться, или же, наоборот, такие, которых следует избегать. Само собой разумеется, что среди них мы находим почти исключительно государственных людей, причем среди греческих мужей преобладают представители полисной классики, а среди римских – герои эпохи гражданских войн; это выдающиеся личности, творящие и изменяющие ход исторического процесса. Если в историографии жизнь человека вплетена в цепочку исторических событий, то в жизнеописаниях Плутарха исторические события концентрируются вокруг значительной личности.

Современному читателю может показаться странным отсутствие в этом сборнике людей творческих профессий, представителей культуры, у которых, казалось бы, также можно многому научиться. Но необходимо учитывать диаметрально противоположный взгляд на этих представителей общества в античную эпоху и в наши дни: почти через всю античность проходит пренебрежительное отношение к профессионализму, считавшемуся недостойным свободного человека, и к людям, занимающимся оплачиваемым трудом, будь то ремесло или искусство (кстати, в греческом языке эти понятия обозначались одним словом). Здесь Плутарх не является исключением: «Ни один юноша, благородный и одаренный, посмотрев на Зевса в Писе, не пожелает сделаться Фидием, или, посмотрев на Геру в Аргосе, – Поликлетом, а равно Анакреонтом, или Филемоном, или Архилохом, прельстившись их сочинениями; если произведение доставляет удовольствие, из этого еще не следует, чтобы автор его заслуживал подражания» («Перикл», 2. Перев. С. Соболевского). Поэты, музыканты и прочие деятели культуры, жизнь которых была достоянием эллинистической биографии, не находят места среди образцовых героев «Сравнительных жизнеописаний». Даже выдающиеся ораторы Демосфен и

² Там же. С. 176 сл.

Цицерон рассматриваются Плутархом как политические деятели, об их литературном творчестве биограф сознательно умалчивает*.

Итак, выйдя за пределы традиционного для данного жанра круга героев, Плутарх нашел оригинальный и до него никем не применявшийся прием попарной группировки персонажей греческой и римской истории, и, как это естественно для Плутарха, формальная находка была поставлена на службу важной идее прославления греко-римского прошлого и сближения двух величайших народов в составе Римской империи. Писатель хотел показать своим соотечественникам, оппозиционно настроенным по отношению к Риму, что римляне не дикари, а последним, в свою очередь, напомнить о величии и достоинстве тех, кого они иногда пренебрежительно называли «гречишками». В результате у Плутарха получился законченный цикл из 46 жизнеописаний, включающий 21 диаду (пару) и одну тетраду (объединение 4 биографий: братья Тиберий и Гай Гракхи – Агис и Клеомен). Почти все диады сопровождаются общим вступлением, подчеркивающим сходство персонажей, и завершающим сопоставлением, в котором акцент, как правило, делается на их различии.

Критерии объединения героев в пары различны и не всегда лежат на поверхности – это может быть сходство характеров или психологических типов, сопоставимость исторической роли, общность жизненных ситуаций. Так, для Тесея и Ромула главным критерием было сходство исторической роли «основателя блестящих, знаменитых Афин» и отца «непобедимого, прославленного Рима», но, кроме этого, темное, полубожественное происхождение, соединение физической силы с выдающимся умом, сложности во взаимоотношениях с родственниками и согражданами и даже похищения женщин. Сходство Нумы и Ликурга выражается в их общих достоинствах: уме, благочестии, умении управлять, воспитывать других и внушать им мысль, что оба получили данные ими законы исключительно из рук богов. Солон и Попликола объединены на том основании, что жизнь второго оказалась практической реализацией того идеала, который Солон сформулировал в своих стихах и в своем знаменитом ответе Крезу.

Совершенно неожиданным, на первый взгляд, кажется сопоставление сурового, прямодушного и даже грубого римлянина Кориолана с изысканным, образованным и при этом далеко не образцовым в нравственном отношении греком Алкивиадом: здесь Плутарх отталкивается от сходства жизненных ситуаций, показывая, как два совершенно непохожих, хотя и богато одаренных от природы характера из-за непомерного честолюбия дошли до измены отечеству. На таком же эффектном контрасте, оттененном частичным сходством, строится диада Аристид – Марк Катон, а также Филопмен – Тит Фламинин и Лисандр – Сулла.

Полководцы Никий и Красс оказываются в паре как участники трагических событий (сицилийской и парфянской катастроф), и только в таком контексте они интересны Плутарху. Такое же типологическое сходство ситуаций демонстрируют биографии Сертория и Эвмена: оба, будучи талантливыми полководцами, лишились родины и стали жертвами заговора со стороны тех, с кем одерживали победы над врагом. А вот Кимон и Лукулл объединены, скорее, по сходству характеров: оба воинственны в борьбе с врагами, но миролюбивы на гражданском поприще, обоих роднит широта натуры и та расточительность, с которой они задавали пиры и помогали друзьям.

Авантюризм и переменчивость судьбы роднит Пирра с Гаем Марием, а суровая непреклонность и преданность отживающим устоям – Фокиона и Катона Младшего. Соединение Александра и Цезаря вообще не требует специальных объяснений, настолько оно кажется естественным; лишний раз это подтверждает пересказанный Плутархом анекдот о том, как Цезарь, читая на досуге о деяниях Александра, прослезился, а когда удивленные друзья спросили его о причине, ответил: «Неужели вам кажется недостаточной причиной для печали то, что в моем возрасте Александр уже правил столькими народами, а я до сих пор еще не совершил ничего замечательного!» («Цезарь», 11. Перев. К. Лампсакова и Г. Стратановского).

Несколько необычной кажется мотивировка параллели Дион – Брут (один был учеником самого Платона, а другой воспитан на платоновских речениях), но и она становится понятной, если вспомнить, что сам Плутарх считал себя последователем этого философа; кроме того, автор вменяет обоим героям в заслугу ненависть к тиранам; наконец, трагический оттенок придает этой диаде еще одно совпадение: и Диону, и Бруту божество возвестило безвременную гибель.

В некоторых случаях общность характеров дополняется сходством ситуаций и судеб, и тогда биографический параллелизм оказывается как бы многоуровневым. Такова пара Демосфен – Цицерон, которых «божество, похоже, с самого начала лепило по одному образцу: не только характеру их оно придало множество сходных черт, таких, например, как честолюбие и преданность гражданским свободам, малодушие перед лицом войн и опасностей, но примешало к этому и немало случайных совпадений. Трудно найти других двух ораторов, которые, будучи людьми простыми и незнатными, добились славы и могущества, вступили в борьбу с царями и тиранами, лишились дочерей, были изгнаны из отечества, но с почестями вернулись, снова бежали, но были схвачены врагами и простились с жизнью тогда же, когда угасла свобода их сограждан» («Демосфен», 3. Перев. Э. Юнца).

Наконец, тетрада Тиберий и Гай Гракхи – Агис – Клеомен объединяет этих четырех героев как «демагогов, и притом благородных»: завоевав любовь сограждан, они будто бы стыдились остаться у них в долгу и постоянно стремились своими добрыми начинаниями превзойти оказанные им почести; но, пытаясь возродить справедливый образ правления, они навлекли на себя ненависть влиятельных лиц, не желавших расставаться со своими привилегиями. Таким образом, и здесь налицо как сходство психологических типов, так и общность политической ситуации в Риме и Спарте.

Параллельное расположение биографий греческих и римских деятелей было, по меткому выражению С. С. Аверинцева³, «актом культурной дипломатии» писателя и гражданина Хероней, который, как мы помним, и в своей общественной деятельности неоднократно играл роль посредника между родным городом и Римом. Но нельзя не заметить, что между героями каждой пары происходит своего рода соревнование, являющееся отражением в миниатюре того грандиозного состязания, которое Греция и Рим вели на арене истории с тех пор, как Рим начал осознавать себя преемником и соперником Греции*. Превосходство греков в области образования и духовной культуры признавалось самими римлянами, лучшие представители которых ездили в Афины, чтобы совершенствоваться в философии, и на Родос, чтобы оттачивать свое ораторское мастерство. Это мнение, закрепленное высказываниями многих писателей и поэтов, нашло наиболее яркое выражение у Горация:

Греция, взятая в плен, победителей гордых пленила.

Что же касается римлян, то и они сами, и греки признавали их приоритет в умении управлять своим государством и другими народами. Тем важнее было для грека Плутарха доказать, что в политике, а равно и в военном искусстве его соотечественникам тоже есть, чем гордиться. К тому же, как последователь Платона, Плутарх считает политическое искусство одной из составляющих философского образования, а государственную деятельность – достойнейшей сферой его приложения. В таком случае все достижения римлян в этой области – это не что иное, как результат воспитательной системы, разработанной греками. Неслучайно поэтому, что Плутарх, где только можно, подчеркивает эту связь: Нума изображается учеником Пифагора, жизнь Попликолы оказывается осуществлением идеалов Солона, а Брут всем лучшим в

³ Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография. С. 229.

себе обязан Платону. Так подводится философская база под идею тождества греко-римской доблести с духовным приоритетом греков.

Новаторство Плутарха сказалось не только в попарной группировке персонажей, но и в композиционной организации каждой биографии в отдельности. После выхода в свет известной монографии немецкого исследователя Ф. Лео о литературных формах греко-римской биографии⁴ ее принято делить на три типа:

1) перипатетический (хронологическое повествование, в котором характер человека раскрывается через поступки), родоначальником его считается перипатетик Аристоксен Тарентский (IV в. до н. э.), а классиком – Плутарх; 2) александрийский (короткое историческое резюме, за которым следует систематическое исследование характера, а хронологический принцип не соблюдается), родоначальник – Гермипп из Смирны (III–II вв. до н. э.), самый яркий представитель – Светоний; 3) энкомий, родоначальником которого считается Исократ, а классиком – Тацит. Итак, по классификации Ф. Лео, «Сравнительные жизнеописания» Плутарха попадают в перипатетический (хронологический) тип. Однако, если внимательно проанализировать структуру отдельных биографий, становится очевидным, что хронологическая организация не является единственным принципом расположения материала, и вот почему. Почти для всего творчества Плутарха характерна интонация дружеской, непринужденной беседы с читателем, столь естественная для диатрибы. Именно ее Плутарх сделал достоянием биографического жанра. Эта интонация поддерживается при помощи свободных переходов от одной темы к другой, основанных на неожиданных ассоциациях, на введении эпизодов, которые пришлось «к слову», на припоминании высказываний, уместных для данного момента. В угоду этой непринужденности хронологический принцип нередко нарушается, но зато достигается плавная непрерывность повествования, связывающая события в рамках одной биографии, а иногда и целой диадой.

Так, например, диаду «Кимон и Лукулл» Плутарх начинает издалека, с рассказа о херонейском прорицателе Перипольте и его дальнем потомке Дамоне, который прославился участием в заговоре против римлянина, тщетно домогавшегося взаимности этого красивого юноши и убитого в результате заговора. Далее выясняется, что это событие удостоилось внимания писателя лишь потому, что как раз в то время через Херонею проходил с воинами Луций Лукулл, расследовавший это дело и проявивший рассудительность и справедливость. Именно долг благодарности Лукуллу, выказавшему великодушие к соотечественникам нашего писателя (пусть даже за два века до этого), побуждает его написать биографию римского деятеля. А имя грека Кимона – между прочим, первого в диаде – появляется лишь в третьей главе, причем, по собственному признанию автора, в результате размышлений над тем, кого можно поставить рядом с Лукуллом. И только с четвертой главы Плутарх переходит к систематическому изложению событий жизни Кимона.

Такую же свободу от оков хронологии мы наблюдаем и в начале жизнеописания Цицерона: после краткой справки о родителях будущего оратора Плутарх переходит к рассуждениям об этимологии прозвища «Цицерон», происходящего от латинского «цицер» – «горох» и присвоенного дальнему предку оратора за особую форму носа. Позволив себе углубиться в эту тему, биограф забегают далеко вперед, во времена наместничества Цицерона на Сицилии, чтобы по ассоциации рассказать о шутильной подписи в виде двух первых имен «Марк Туллий» и горошины вместо третьего*, выгравированной на серебряном подношении богам. Лишь затем он возвращается к рассказу о рождении Цицерона, о призраке, возвестившем кормилице, что она вскармливает того, кто принесет великую пользу всем римлянам, и т. д.

⁴ Leo F. Die griechisch-romische Biographie nach ihrer litterarischen Form. Leipzig, 1901. S. 315–323.

Здесь, следуя Плутархову методу, мы хотим воспользоваться случаем и сделать отступление о его отношении к мифологическому преданию, предсказаниям, призракам и тому подобным вещам. Чаще всего Плутарх, как человек просвещенный, называет эти явления «сновидениями и вздором» («Цицерон», 2) но тем не менее не упускает возможности украсить ими свой рассказ – разумеется, с оговорками или ссылками на чужое мнение, – предоставляя читателю право самому решать, верить или не верить в подобный вымысел. Так, обосновывая переход к биографиям мифологических персонажей Тесея и Ромула, он высказывает пожелание, чтобы его произведение, «очищенное разумом от сказочного вымысла, приняло характер истории». Но там, где вымысел упорно борется со здравым смыслом, не хочет слиться с истиной, он рассчитывает на снисходительность читателей, которые не отнесутся сурово к преданиям далекой старины... («Тесей», 1). В соответствии с этой установкой Плутарх, где только может, рационализирует миф: так, происхождение Тесея от Посейдона, а Ромула от Марса он оставляет на совести их матерей Этры и Реи, однако в связи с внезапным исчезновением Ромула во время грозы и последующей легендой о его обожествлении писатель вынужден пуститься в пространный экскурс об исчезновениях других героев, в самом конце которого он пытается примирить историю с вымыслом: «Преступно и в высшей степени низко совершенно отнимать у добродетели ее божественное происхождение; но смешивать земное с небесным, кроме того, глупо» («Ромул», 28. Перев. В. Алексеева). Как последователь Платона, Плутарх завершает это отступление рассуждением о божественном происхождении душ, которые после смерти возвращаются к богам.

Итак, Плутарх сознательно прибегает к нарушению хронологического принципа ради интонации непринужденной, доверительной беседы с читателем, а она, в свою очередь, нужна Плутарху для того, чтобы заинтересовать, увлечь собеседника неожиданным поворотом повествования или даже самым его началом (здесь писатель проявляет невероятную изобретательность!). Вот несколько примеров. «Говорят, что однажды Цезарь увидел в Риме, как какие-то богатые иностранцы носили за пазухой щенят и маленьких обезьян и ласкали их. Он спросил, разве у них женщины не рожают детей?..» (Перев. С. Соболевского.) Этими словами и последующим рассуждением о том, что не следует тратить на животных нежность и ласку, причитающуюся людям, Плутарх начинает биографию... Перикла (а вовсе не Цезаря). Столь же неожиданно начало биографии Демосфена: «Сочинивший хвалебную песнь Алкивиаду по случаю его победы на колесничных бегах в Олимпии – был ли то Еврипид, как считает большинство, или кто-нибудь другой – утверждает, что для полного счастья необходимо прежде всего иметь отечеством «град знаменитый и славный...» (Перев. Э. Юнца).

Каким же видит Плутарх своих читателей, с которыми он беседует, делится сомнениями, которым посвящает плоды своих размышлений? Скорее всего, это те самые люди – близкие, друзья, члены семьи, – которые были адресатами или собеседниками писателя в его моралистических диалогах и диатрибах, те, в кругу которых он прожил жизнь. Это интеллектуалы, которые с воодушевлением отнеслись бы к его жанровым новациям, были бы снисходительны к хронологическим сбоям, но не простили бы ему педантизма, излишней дидактики, навязчивости и однообразия. Именно их Плутарх хотел увлечь, заинтересовать, поразить своим рассказом. То, что, преследуя моралистические цели, он не поступился увлекательностью, выдвинуло «Сравнительные жизнеописания» в первые ряды позднеантичной литературы и сделало одним из самых читаемых и востребованных произведений на века. Нет сомнений, что многие афоризмы, анекдоты, поучительные истории из жизни великих людей прошлого стали широко известны именно благодаря Плутарху, – это изречение Фемистокла о трофее Мильтиада, не дающем ему спать, слова Цезаря о том, что он предпочел бы быть первым в маленьком городе, чем вторым в Риме, и что жена Цезаря должна быть вне подозрений, заявление Александра Македонского, что если бы он не был Александром, то был бы Диогеном, рассказы о том, как

Демосфен боролся с врожденными недостатками и тренировал себя, чтобы стать оратором, об укрощении Александром коня Буцефала, о смерти Архимеда и другие.

«Жизнеописания» Плутарха не только в античную эпоху, но и в новое время стали излюбленным чтением образованных людей и оказали сильнейшее влияние на литературу. Его высоко ценили философы Монтень и Руссо, на основе биографий Плутарха Шекспир создал свои римские трагедии «Кориолан», «Юлий Цезарь» и «Антоний и Клеопатра». Корнель и Расин заимствовали у Плутарха сюжеты своих драм. Плутарх был одним из любимых писателей Гёте, а у Шиллера в «Разбойниках» Карл Моор восклицает: «О, как мне становится гадок этот чернильный век, когда я читаю в моем Плутархе о великих людях!» У Герцена в романе «Кто виноват?» воспитатель молодого Бельгова женевец Жозеф в виде награды позволяет ему читать Плутарха. Произведения этого писателя были среди настольных книг декабристов. Огромное впечатление произвел Плутарх на В. Г. Белинского, который писал В. П. Боткину: «Книга эта свела меня с ума... Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности... Я понял через Плутарха многое, чего не понимал. На почве Греции и Рима выросло новейшее человечество».

А. С. Пушкин, по свидетельству О. С. Павлищевой, «уже девяти лет любил читать Плутарха». Он познакомился со «Сравнительными жизнеописаниями» во французском переводе Жака Амио, издания 1783–1784 или 1801–1806 годов. В кругу чтения Пушкина-лицеиста был «Плутарх для юношества, или Жития славных мужей всех народов от древнейших времен и доныне с гравированными их портретами. Сочинение, могущее возвысить душу молодого человека и украсить сердце его добродетелями, изданное Петром Бланшардом» (перевод с французского, 2-е изд., СПб., 1814 г.). Однако, помимо этих изданий, Пушкин мог познакомиться с латинским текстом, а также с первым полным переводом «Жизнеописаний» Плутарха с древнегреческого языка на русский, выполненным в 1814–1821 годах Спиридоном Дестунисом* и носившим следующее название: «Плутарховы сравнительные жизнеописания славных мужей. Перевел с греческого Спиридон Дестунис, с историческими и критическими примечаниями, с географическими картами и изображениями славных мужей. Части 1—13». В произведениях Пушкина есть множество античных реминисценций, некоторыми из них, он, без сомнения, обязан Плутарху. Так, финальная ремарка драмы «Борис Годунов» («Народ безмолвствует»), скорее всего, навеяна красноречивой сценой народного молчания, наступившего вслед за сообщением об убийстве Цезаря.

В России «Жизнеописания» Плутарха неоднократно издавались в различных составах. Данное издание воспроизводит именно первый полный перевод с древнегреческого, сделанный Спиридоном Дестунисом.

Е. В. Желтова, кандидат филологических наук

Сравнительные жизнеописания

Краткое известие о сочинениях и жизни Плутарха

В кругу просвещенных и благовоспитанных людей мало таких, которые бы не читали сочинений Плутарха или по крайней мере не имели бы достаточного о них понятия. От слабых начал просвещения новейших времен до величайшего распространения оного Плутарх был любимым писателем всех великих мужей, и чтение его сочинений равно услаждало Петrarку, Монтеня, Руссо. Многие из лучших писателей ссылаются на него как на беспристрастного историка, как на глубокомысленного мудреца, как на превосходного нравоучителя. Политики немало пользовались его мыслями; любители ученых разысканий находят в его сочинениях обильные запасы к умножению своих познаний. Семнадцать веков уже протекло после Плутарха; нравы, образ правления, народные мнения, сама религия народов претерпели важные перемены, между тем как Плутарх, кажется, писал для нас. Древность оставила нам много других великолепных и удивления достойных памятников философии в сочинениях великих писателей, но ни одного из них нет столь близкого к образу мыслей наших времен, сколь близки творения мудреца Херонейского. Можно сказать о них то, что сам Плутарх говорит о зданиях, воздвигнутых Периклом в Афинах и существовавших в его время: «Они тогда уже по красоте своей были древни, по прочности же своей новы и поныне».

Плутарх занимает почтенное место среди нравоучительных философов по причине множества своих наставительных рассуждений. Нет ни одного предмета из метафизики, политики, физики, словесности, которого бы он не коснулся с философской разборчивостью и глубокомыслием. Однако ничем столько не прославился и не заслужил уважения и благодарности потомства, как описанием жизни великих мужей, греческих и римских. Предмет сам по себе важный, великий – описать все то, что человеческая природа произвела удивительного и высокого в двух славнейших в свете народах. Его жизнеописания суть великолепная галерея, в которой изображены самые блистательные и достопримечательные деяния великих мужей, равно как все случаи, все выразительные черты, открывающие сокровенные пути их движения и побудительные причины действий, – словом, все то, что составляет нравственный характер человека. Слова великих мужей также не оставлены без внимания. «Свойства человека, – говорит сам Плутарх, – более открываются в словах и изречениях, нежели в самих деяниях. В них участвует судьба; но изречения и слова, необдуманно вырывающиеся в известных случаях – в страсти, даже в шутках и без предварительного размышления, как бы в зеркале изображают мысли и чувствования».

На этих прекрасных картинах более, нежели в каком-либо другом описании, любитель истории узнает о лицах, положивших начало величию Афин, Спарты, Рима, вознесших свои славы, или бывших причиной его упадка. Он еще более уверится в том, что один человек производит все и что великие люди подобны тем небесным телам, которые, находясь в средоточии планетной системы, приводят в движение все мелькающие окрест их тела и действуют на них своим могущественным влиянием.

Плутарх обладает даром рассказывать просто, но приятно и пленительно. Везде открывается в нем богатство мыслей, полнота сердца, непринужденность, и, что всего важнее, он всегда исполнен любви к человечеству, привязанности к добродетели и почтения к Богу. Его описания разительны, живы. Душа его возвышается при повествовании о важных происшествиях и, если можно так сказать, переходит в предметы, им изображаемые. Великие дела внушают ему превосходные мысли, нередко потрясающие сердца читателя. Он не ищет цветов, но, находя их вблизи, умеет ими пользоваться. Возвещая подвиги добродетели, он восхищает читателя

и, обнаруживая свое искусство в красноречии, становится сильным, богатым в выражениях, важным, высоким.

В описаниях нравов он превосходит. Нет ничего яснее нравственных его начертаний; везде открывается дух философского изыскания, который есть лучшее украшение исторических сочинений.

Память его обогащена мыслями великих философов и картинами поэтов, имена которых едва нам ныне известны. Плутарх нередко и весьма кстати употребляет их стихи, дабы своему слогу придать более разнообразия, живописи. Оттого сочинения его в подлиннике пленительны; но почти невозможно в переводе соблюсти всю их приятность. Скажем мимоходом, что немногие столько читали, сколько читал Плутарх, и немногие из чтения своего извлекали столько пользы для себя и для других, сколько этот ученый муж.

Плутарх не из числа тех пристрастных историков, которые насчет истины делают то панегиристами, то хулителями своих героев, оказывая одному более благоволения, нежели другому. Для него, кажется, нет любимого героя; он всех судит с равным беспристрастием; яркими красками описывает хорошие их качества, но, как сам говорит, щадя слабость человеческой природы, не производящей ничего совершенного, он не описывает худых черт слишком точно и обстоятельно. При всем том некоторые обвиняют Плутарха в пристрастии к греческим героям – важный недостаток для историка, который должен быть свободен от ослепляющих предубеждений! Если в самом деле есть в Плутархе такой недостаток, то, вероятно, причиной этому то, что он историю своего народа знал лучше римской. Он сам признается, что не знал в совершенстве латинского языка и поздно начал его изучать. По моему мнению, это обвинение в пристрастии неосновательно. Должно только прочесть его суждения, чтобы увериться, сколько часто он вручает римскому герою пальмовый венок, когда тот его заслуживает.

Сравнения нравов и деяний героев этих двух народов придает Плутарховым жизнеописаниям более важности и совершенства. Эти краткие сравнения всегда приятны, нередко исполнены глубоких и важных рассуждений и в особенности весьма полезны для молодых читателей, которым опасно отдавать на собственное их суждение жизнеописание людей, нередко прославившихся блистательными поступками. Плутарх справедливо и строго судит в этих сравнениях нравы, склонности и деяния великих мужей; показывает между ними сходство и различие и учит читателя трудной науке рассуждать здраво и беспристрастно. К общему сожалению, потеряны *сравнения* славнейших мужей: Фемистокла с Камиллом, Пирра с Марием, Фокиона с Катонем, Александра с Цезарем. Тщетно некоторые ученые старались восполнить этот недостаток; труды их не могут наградить потери. Равным образом не загладима утрата жизнеописаний двух Сципионов, Эпаминонда и некоторых других.

Среди услуг, за которые Плутарху обязано потомство, немаловажно и то, что в его сочинениях любитель истории находит многие происшествия, которые без него были бы погребены во мрак забвения. Где Тит Ливий, Саллюстий и другие историки молчат, там Плутарх срывает завесу, и мы видим перед собой Гракхов, Мария, Суллу, Помпея – людей, столь много прославившихся в мире.

Оказывая Плутарху справедливость во всем том, что в его сочинениях находим хорошего, не будем забывать и о его недостатках, которые немаловажны. Повествования его нередко беспорядочны, наполнены неуместными отступлениями. Предаваясь беспечно течению мыслей своих, Плутарх часто переменяет порядок происшествий, рассказывает о делах, не имеющих между собой никакого отношения, и, наконец, извиняется, говоря: об этом некогда упомянул. Чтобы уничтожить это неудобство, стоило бы ему все отступления превратить в примечания, но в его время они не были в употреблении. Впрочем, отступления эти доказывают желание его учить нас, желание, без которого нравы и обычаи древних были бы нам еще менее известны.

Также обвиняют Плутарха в повторении одного и того же происшествия. Но при описании дел, в одно время бывших, можно ли избежать повторения, относя каждому герою ту часть деяний, которые собственно ему принадлежат? Должно удивляться тому, что Плутарх не повторяет чаще одних и тех же происшествий.

Ученые заметили в нем некоторые неисправности в исторических исследованиях, некоторые противоречия самому себе – погрешности неизбежны у тех, кто много сочиняет.

Всего замечательнее в его сочинениях то, что слог его часто бывает неправилен, недовольно обработан, растянут; нередко запутан, темен. Причиной этому, между прочим, необходимое чтение многих писателей, которые могли испортить его слог; вероятно, их речи Плутарх во многих местах приводит слово в слово. Век, в котором он жил, век упадка греческой и латинской словесности, имел также немалое влияние на его красноречие. Как бы то ни было, в рассуждении чистоты слога он не может быть принят за образец, не сравнится с великими греческими писателями, каковы Фукидид, Ксенофонт и другие.

Почти все упрекают Плутарха в суеверии; он верит сверхъестественным явлениям, странным случаям, чудесам, сновидениям, гаданиям. Это заставило многих почитать легковерным мужа столь мудрого, одаренного обширным умом, украшенного всеми познаниями, какие только можно было получить в его время. Из многих его рассуждений явствует, что он признавал единого Бога и отвергал многобожие. При всем том он говорит о богах языческих так, как бы им верил. Уважать народные мнения есть долг здравомыслящего человека. Многие предрассудки смешны, но полезны. Опровергать то, что всеми принято, есть непозволительный цинизм. Впрочем, Плутарх в этом случае разделяет ошибки своего века. Всем известно, до какой степени древние были заражены верой в предзнаменования, в гадания, в прорицалища. Сократ, Платон, Ксенофонт им верили. Многие философы писали целые книги об этих предметах, которые ныне для нас столь смешны. Кто не удивится, что Цицерон, великий политик, великий оратор, великий философ, написал книгу о гадании?

Под именем *нравственных сочинений* Плутарха разумеются все неисторические его сочинения, метафизические, политические, физические и собственно так называемые нравственные. В этих творениях находим мы самую чистую нравственность, не строгую и сверхъестественную, подобно стоической, над которой довольно остро шутит Плутарх, но кроткую, снисходительную, основанную на природе человека, внушенную ему голосом здравого рассудка. Мысли его о Боге самые чистые и высокие. Он говорит, что Бог есть существо вечное, нетленное, исполненное всех благ, непричастное злу; что Он есть ум, виновник, вседержитель, отец всего. Понятие Плутарха о Нем столь совершенны, что он превзошел в том самого учителя своего Платона, который лучше всех древних говорит о Боге. Он, по-видимому, принадлежит к числу тех людей, которые рождаются с живым чувством благоговения ко Всевышнему Существу.

Плутарх признавал бытие существ, связующих божественную природу с человеческой. Существа эти назывались у древних демонами, гениями. Невозможно, думал он, чтобы во всем порядке творений не было связи, соединяющей смертное существо с бессмертным, – не было середины между двумя крайностями; тогда в природе была бы пустота. Он приемлет переход из одного состояния в другое, полагая, что добродетельные мужи по смерти превращаются в героев, из героев в гениев и, наконец, в богов. Из гениев этих одни управляют прорицалищами или предстательствуют судьбе человеческой, вспомошествуют добрым, наказывают злых и имеют сообщество с добродетельнейшими людьми. Должен признаться, что эта система возвышает человека и не противна рассудку.

В бессмертии души, в промысле Божиим он не только совершенно уверен, но во многих местах силится утвердить эти полезные истины неоспоримыми доказательствами против учеников Эпикура. Эта вредная секта во времена Плутарха, равно как и в наши времена, имела многих последователей; но в каком была презрении у всех добродетельных людей, видно из сочинений Плутарха, Цицерона и подобных им истинных философов.

Сколь чисто было нравоучение Плутарха, видно из его понятий об удовольствиях. Душевные удовольствия он столько предпочитает телесным, что в рассуждении о том, что по Эпикуровой системе жить неприятно, говорит, между прочим, следующее, на что, конечно, ни один эпикуреец не согласится: «Кто в голоде и жажде лучше бы захотел вкусить яств феаков*, нежели прочесть описание Одиссеевых походов у Гомера? Кто бы более занят был уединенной беседой с прекрасной женщиной, нежели чтением Ксенофоновой повести о Пантее, Аристобуловой о Тимоклее, Феопомповой о Фисбе?.. Каких наслаждений не чувствовал Евклид, занимаясь геометрией и астрономией, Филипп, доказывая вид Луны, Архимед, найдя диаметр Солнца?.. Когда он в бане открыл решение данной ему царем задачи, то в восторге, в исступлении, выбежав на улицу, кричал: “Я нашел!” Какой сластолюбец воскликнул бы с таким душевным удовольствием: “Я наелся!” Или любовник: “Я пресыщен любовью!”?»

Везде силится он уверить людей убедительными доказательствами в красоте, необходимости и пользе добродетели, в безобразии и вреде порока. «Порок, – говорит он, – повсюду за тобой следует; живет во внутренности твоей; ни днем ни ночью не отстает от тебя. В путешествиях, за столом, на ложе мучит тебя гордостью, невоздержанием, заботами, завистью, гневом... Какое в пороке благополучие, когда порочный не имеет ни покоя, ни довольства, ни спокойствия?.. Собирай богатство; строй чертоги; заводи гульбища, пусть дом твой наполнится рабами, город должниками, нет счастья для тебя, если ты во власти порока».

Мудрость Плутарха есть деятельная мудрость. Во всех сочинениях своих он побуждает человека быть полезным обществу и служить ему. Жить только для себя почитает он низким для разумного существа и свойственным единственно тому, кто предался совершенно поносным удовольствиям. «Такого рода жизнь, – говорит Плутарх, – имеет нужду во мраке – в забвении и неизвестности; но кто признает Бога, Провидение, чтит закон, общество, тому не должно скрывать себя. Недеятельная, в неизвестности и покое проведенная жизнь расслабляет не только тело, но и самую душу. Стоячая вода гниет; способности человека в бездействии увядают».

Во всех его сочинениях обнаруживается истинное человеколюбие и сострадание. Никогда в этих добродетелях не изменяет сам себе, подобно некоторым философам протекшего века, которые проповедывали человеколюбие одними пышными словами. Это божественное чувство было врожденное в Плутархе, но утвердилось в нем еще более учением Пифагора. Известно, что этот великий мудрец, дабы смягчить суровость человека и влить в сердце его жалость ко всем тварям, изобрел систему переселения душ. Плутарх принял эту систему, согласную с его чувствительностью. Укрощая свирепость человека к животным, он показывает ему сходство его с ними, унижает его гордость и возбуждает сострадание, устрашая его тем, что, может быть, будущее его существование будет состоянием твари низшей степени. Я не буду приводить здесь его слов о сырождении; они сильны, разительны; нельзя их читать без особенного чувства. Но какая в том польза?.. Приведем лучше то место, в котором Плутарх осуждает Катона Старшего за то, что он без милосердия продавал старых рабов и волов своих. Место это заслуживает одобрения всякого чувствительного сердца. «По моему мнению, – говорит он, – изгонять рабов из дома, в старости продавать их, употребивши как скотов, – это обнаруживает душу неблагодарную, низкую, которая думает, что человек с человеком не может иметь другой связи, других отношений, кроме нужды и корысти. Мы знаем, что благодать и человеколюбие занимают более места, нежели справедливость; мы созданы так, что законы и правосудие употребляем только с людьми; благодетельность и сострадание распространяем и на бессловесных животных, ибо свойства эти проистекают из кротости душевной, как из богатого и чистого источника. Добрый человек должен кормить лошадей, неспособных более к работе, и иметь попечение не только о щенках, но и о старых псах своих... Неприлично нам чувствующее употреблять так, как обувь или как вещи, которые бросаем, коль скоро изнасятся или испортятся от употребления... Что касается до меня, не продал бы я и быка, обрабатывавшего мою землю,

по причине его старости; не удалил бы за деньги человека старого от себя, от места, где он жил, от родины, от обыкновенного рода жизни, когда он столько же бесполезен покупающим, как и продающим».

Я кончу это несовершенное начертание духа Плутарха изложением некоторых его мыслей о законе и власти. «Закон, – говорит он с Пиндаром, – есть царь бессмертных и смертных. Закон управляет владыками. Не заключается он в мертвых книгах, но живет в разуме государя и душу его никогда не оставляет без своего руководства; он внушает ей, что должно делать. Владыки, стараясь о благе человечества, служат Богу; они разделяют и охраняют блага, ниспосылаемые Богом. Нельзя ими наслаждаться, ни употреблять их без закона, без суда, без правителя. Суд есть конец закона; закон – дело правителя; правитель – образ бога, все устрашающего. Божество возвышает того, кто подражает ему во благости и уподобляется ему в добродетелях и человеколюбии; оно делает его участником в своем правосудии, в своей истине, кротости, божественнее чего не может быть ни огонь, ни свет, ни тела небесные. Суд не восседает, как говорят, на одном престоле с Зевсом; сам Зевс есть суд и справедливость. Зевс сам есть древнейший и совершеннейший закон». Какой христианский мудрец имел о законе и власти лучшее понятие?

Подробно разбирать и исследовать все метафизические и нравственные мысли Плутарха было бы дело, требующее долгого времени и несовместное с краткостью сего предисловия. Скажем только, что все его рассуждения, несмотря на печать древности и на некоторые недостатки, писаны основательно, весьма полезны и назидательны. Приятность их умножают небольшие устранения, достопамятные изречения, частые уподобления и сравнения, придающие живость мыслям и служащие к утверждению предлагаемых истин.

Мы кратко опишем здесь жизнь сего почтенного мудреца.

Плутарх, познакомивший нас со многими великими мужами, мало нам известен по описанию других. Достойно удивления, что о нем ни слова не упоминают писатели, жившие в одно время с ним и в одном городе, каковы Персей, Асканий Педан, Лукан, Сенека, Силий Италик, Валерий Флакк, Плиний Младший, Марциал, Ювенал. Вернейшие – впрочем, краткие – известия, которые можно иметь о его жизни, почерпнуты из собственных его сочинений. Все то, что сказано о нем впоследствии, подвержено некоему сомнению.

Плутарх родился в Херонее* – малом городе Беотии. Эта тучная страна окружена со всех сторон горами и подвержена наводнениям, от которых воздух делается тяжелым. Это обстоятельство имело влияние на умы жителей. Все греки, особенно афиняне, много забавлялись насчет тупоумия беотийцев, которое вошло в пословицу. Они много ели и мало занимались образованием ума, что сам Плутарх замечает. Однако эта малая область произвела Эпаминонда, Пелопида, Пиндара и Плутарха. Явное доказательство, что гений не ограничивается местом и не зависит от особенного климата!

Год рождения нашего философа неизвестен. Полагают оный в пятидесятый год по Р. Х. – в конце Клавдиева или в начале Неронова царствования.

Он происходил от достаточного и весьма древнего рода. Предки его занимали первые должности в управлении отечества. Он упоминает о Никокле, своем прадеде, который рассказывал ему как очевидец о бедствии херонейских граждан во время Антония, воины которого, навьючив их своими запасами, заставили оные нести до самого моря. Ламприй, дед его, был красноречив, имел живое воображение и был известен в обществе, как веселый собеседник. Имя отца его неизвестно. Плутарх говорит о нем как об ученом и доброжелательном человеке и упоминает о следующем его благоразумном совете. «Некогда был я отправлен к проконсулу депутатом вместе с одним согражданином, который по какой-то причине остался позади, так что все дела кончены были одним мной. По возвращении моему, когда я приготовился дать отчет в своих действиях, отец мой советовал мне наедине не говорить гражданам “я поехал”, “я говорил”, но “мы поехали”, “мы говорили”».

У него было два брата, Тимон и Ламприй, которые были его товарищами в учении и в забавах. Плутарх говорит о них с нежностью. О Тимоне же пишет следующее: «Хотя судьба благоприятствовала мне во многом, однако ничем я ему столько не обязан, как любовью ко мне брата моего Тимона».

Учителем его был Аммоний, знаменитый философ. Плутарх в своих сочинениях часто говорит его устами; но вообще он мало нам известен.

Утверждают многие, что Плутарх путешествовал в Египет. Он сам нигде о том не упоминает, следовательно, это подвержено сомнению. Однако в сочинении своем «Об Исиде и Осирисе» он обнаруживает такие сведения, которых нельзя было ему иметь, не живя в Египте. Свойственная ему скромность не позволила бы написать того, о чем многие прежде его писали, если бы сам он не имел точнейших и вернейших сведений. Весьма достоверно, что он путешествовал по Греции, дабы видеть эту страну, в его время имевшую еще некоторые следы прежнего величия, и дабы собрать нужные для истории сведения. Более двух или трех раз ездил он в Рим во времена Вителлия, Веспасиана, или Тита. Это известно потому, что в числе его слушателей был и Арулен Рустик, умерщвленный после Домицианом.

Причина путешествия его в Рим не известна. Не отправился ли он туда в той надежде, что в этом средоточии величайшей империи, в этой столице тогдашнего мира удобнее, нежели где-либо, как сам говорит в жизнеописании Демосфена, мог найти все пособия к совершению своих ученых трудов? Не привлекла ли туда его служба отечества или дружба с знаменитыми особами, каков был Кв. Сосий Сенецион, столь уважаемый Траяном, удостоившийся быть четыре раза консулом, которому Плутарх посвятил «Сравнительные жизнеописания» свои* и «Застольные беседы»? Как бы то ни было, пребывание его в Риме послужило его славе. Все любители философии собирались к нему, дабы слушать его. Стечение их было столь велико, что Плутарх едва имел время чем-либо заниматься. Тогда-то сделались известными его нравственные рассуждения, которые все с жадностью читали.

Большую часть своей жизни провел он в малом своем отечестве, которое безмерно любил. «Я родился в этом малом городе и приятно мне жить в нем, дабы он не сделался еще меньше». Как из этих слов, обнаруживающих кротость и нежность души его, так и из многих других явствует, что Плутарх не был космополитом, будучи уверен, может быть, что космополитизм пагубен для общества.

Он был ревностный последователь Платоновой философии, произведшей великое множество мудрых. Однако не был до того ослеплен уважением к учителю своему, чтобы не отвергать того, что в нем ложно, и не заимствовать от других сект того, что казалось ему основательным. Он заимствовал от академиков скромность и осторожность во мнениях своих и оставил их скептицизм; принял их естественное богословие, но отказался от их метафизических тонкостей и энтузиазма. Весьма странно, что он нигде не упоминает о христианах, которые в то время были уже многочисленны. Вероятно, он вместе со многими другими не умел отличать христиан от иудеев, которых римляне и греки почитали самым суеверным народом. Молчание это о христианах тем удивительнее, что, по уверению митрополита Иоанна Евхаитского*, жившего в царствование Константина Мономаха и Комнинов, Платон и Плутарх были ближе всех языческих мудрецов к христианскому закону.

У перипатетиков научился он познанию естества и логики; но, довольствуясь теми практическими познаниями, какие мог у них заимствовать, отказался от гипотез, которые их много занимали.

Несмотря на явную войну с эпикурейцами, он заимствовал от Эпикура разумное понятие об удовольствии. В политических своих рассуждениях он более следует Аристиппу.

Плутарх был добрый и, по-видимому, счастливый супруг. Жена его Тимоксена была достойна столь кроткого и мудрого человека. Она происходила от добрых родителей; была хорошо воспитана, благоразумна и добродетельна. Счастливое супружество внушило ему те

прекрасные брачные наставления, которые многим известны. В сочинении, в котором старался утешить свою жену, находясь в отсутствии, о смерти малолетней их дочери, Плутарх хвалит ее за то, что она не предалась безрассудно своей горести, не обезобразила себя по тогдашнему обыкновению, но перенесла этот удар судьбы с твердостью и великодушием. В этом самом сочинении описывает ее наилучшими красками. По свидетельству его она не имела обыкновенных слабостей ее пола и страсти к нарядам. Всякое излишество почитала достойным порицания, и все честолюбие ее состояло в том, чтобы исполнять свои обязанности. У него было от нее четыре сына: Ламприй, Автобул, Плутарх и Херон и дочь Эвридика. Всех их кормила сама мать, кроме одной дочери, которую не могла сама питать по причине болезни. Они наставлены родителями в своем доме. Философ Секст, наставник императора Марка Антонина, был племянником Плутарха.

По свидетельству Свида, император Траян почтил Плутарха консульским достоинством и препоручил ему Иллирию. Говорят также, что он был прокуратором Греции. Если это справедливо, то Плутарх тем более заслуживает удивления, что после в своем малом отечестве с примерным старанием исполнял самые неважные должности. Он сам считал кирпичи и камни в общественных строениях Херонеи, над которыми имел надзор, и когда другие над сим смеялись, то он говаривал: «Философ Антисфен нес в руке соленую рыбу, купленную им на рынке, и говорил смеющимся над ним: я для себя ее несу. Я, напротив того, могу сказать тем, кто над мной смеется, видя меня в таких занятиях: не для себя я это делаю, но для отечества». Заниматься этими мелочами из скупости – низко; заниматься ими для пользы отечества – достойно. Чем должность ниже, тем более потребно оказывать усердие. Плутарх, по-видимому, не довольствовался тем, чтобы прославлять великих мужей, но старался им подражать. «Жизнеописания великих мужей, – говорит он, – предпринял я из уважения к другим, но продолжаю уже оные для себя, стараясь в истории их, как бы в зеркале, украсить жизнь свою и приблизиться к их добродетелям».

Но когда Плутарх упоминает о неважных должностях, исправляемых им в своем отечестве, прошел бы он молчанием того, что был возведен в консульское достоинство и управлял Иллирией? Такое молчание с его стороны заставило господина Дасье почитать это обстоятельство сомнительным. Уважение, которым Плутарх пользовался у Траяна, не может доказать того, что он был возведен в это достоинство, ибо многие греческие философы имели слушателями императоров и были их наставниками. Также сомнению подвержено, чтобы он был наставником императора Траяна (или Адриана) – хотя, впрочем, это подтверждается общим мнением. Весьма вероятно, что он был любим и уважаем Траяном, которому посвятил собрание достопамятных изречений полководцев и царей*.

Можно думать, что Плутарх занялся жизнеописаниями по возвращении своем в Херонею после смерти императора Траяна. Столь важное занятие не могло отвлечь его от того, чтобы служить обществу. Он посвятил ему все свое время – как слуга богов, как правитель народный. Беспреданно увещевал граждан к единодушию; дом его был открыт для всех, имевших в нем нужду; не довольствуясь тем, чтобы назначить несколько часов в день для отправления своей должности, он употреблял много времени для укрощения вражды между частными лицами, для успокоения домашних раздоров, для примирения поссорившихся друзей. Он почитал это важнейшей частью своей должности, ведая, что опаснейшие общественные крамолы были порождены частными неудовольствиями. «Пожары, – говорит он, – не всегда в публичных зданиях начинаются; но большей частью производятся какой-нибудь свечей, оставленной без присмотра в частном доме».

В старости лет своих Плутарх был жрецом Аполлона Пифейского. Время и обстоятельства его смерти нам неизвестны. Полагают, что он умер около 120 года по Р. Х.

Каким уважением пользовался Плутарх при жизни за свои высокие знания и за способности говорить, можно видеть из следующего происшествия, о котором сам пишет в рассужде-

нии о любопытстве. «Некогда в Риме говорил я перед многими слушателями, в числе которых был и Рустик, которого впоследствии умертвил Домициан, завидуя его славе. Приходит воин и подает ему письмо от императора. Сделалась тишина, и я перестал говорить, дабы дать ему время прочесть письмо; однако Рустик сего не захотел и не прежде распечатал письмо, как по окончании беседы – все удивились его твердости!»

Римский сенат воздвиг ему по смерти кумир. Агафий, славный сочинитель надписей, сделал на одном следующую:

«Сыны Италии воздвигли тебе, Плутарх, кумир этот за то, что в описаниях своих сравнил со славнейшими греками храбрых римлян. Но ты сам не мог бы сделать сравнения своей жизни – тебе нет подобного».

Эта стихотворческая надпись не покажется надутой, когда мы узнаем, что многие знаменитые писатели, многие из святых отцов превозносили его великими похвалами.

Авл Геллий приписывает ему высокие познания в науках.

Тавр называет ученым и мудрым.

Евсевий ставит выше всех греческих философов.

Сардиан называет «божественным Плутархом», «украшением философии».

Петрарка в нравственных своих сочинениях многократно называет «великим Плутархом».

Ириген, Имерий, Кирилл, Феодорит, Свидя, Фотий, Ксифилин, Иоанн Салисберийский, Викторий, Липсий, Скалигер, Сент-Эвремон, Монтескье упоминают о нем с великими похвалами.

Свидетельство Монтеня о Плутархе любопытно тем, что дает нам знать, какую великую перемену произвели его сочинения во Франции в XVI веке. Мы приведем его слова («Опыты». Кн. II, гл. 2):

«Среди всех французских писателей я отдаю пальму первенства – как мне кажется, с полным основанием – Жаку Амио... на протяжении всего его перевода смысл Плутарха передан так превосходно и последовательно, что либо Амио в совершенстве понимал подлинный замысел автора, либо он настолько вживился в мысли Плутарха, сумел настолько отчетливо усвоить себе его общее умонастроение, что нигде по крайней мере он не приписывает ему ничего такого, что расходилось бы с ним или ему противоречило. Но главным образом я ему благодарен за находку и выбор книги, столь достойной и ценной, чтобы поднести ее в подарок моему отечеству. Мы, невежды, были бы обречены на прозябание, если бы эта книга не извлекла нас из тьмы невежества, в которой мы погрязли».

Посмотрим, что говорят о нем новейшие критики.

Лагарп пишет:

«Из всех биографов на свете более читается и более всех достоин чтения – Плутарх. Уже и сам план его сравнительных жизнеописаний есть изобретение великого ума относительно истории и нравственности – план, где представляются по два славных мужа из двух народов, римского и греческого, произведших наиболее образцов в мире. Но зато уже нигде история столько не нравоучительна, как в Плутархе... Он занимается более человеком, нежели вещами, главный предмет его есть человек, коего жизнь он описывает, и в этом отношении он исполняет дело свое с возможным успехом, не собирая множества подробностей, как Светоний, но выбирая черты главные. А сравнения, которые суть следствия оных, – это совершенные статьи в своем роде: в них-то наиболее видно высокое достоинство Плутарха и как писателя, и как философа. Никто, никто из смертных не имел более права держать в руке своей весы, на которых вечная правда взвешивает людей и определяет их истинную цену. Никто более не остерегся от блестящих и ослепительных соблазнов, никто лучше не умел ловить полезное и выставлять его достоинство... Его рассуждения суть истинное сокровище мудрости и здоровой

политики: в них содержатся наилучшие наставления для тех, которые хотят жизнь свою, общественную и даже домашнюю, расположить по правилам честности и проч.».

Блер в «Риторике» своей говорит:

«Плутарх отличился в этом роде сочинений; ему большей частью мы обязаны всем тем, что знаем о славнейших мужах древности... Его сравнительные жизнеописания славных мужей останутся навсегда драгоценным запасом наставлений полезных. Из древних сочинителей мало есть равных Плутарху в человеколюбии и чувствительности, и проч.».

Феодор Газа, ученейший человек, один из тех греков, которые в пятнадцатом столетии воскресили в Европе словесность и науки, имел отличное уважение к Плутарху. Некогда спрашивали его, какого писателя захотел бы он сохранить при всеобщем истреблении всех книг? «Плутарха!» – отвечал он, почитая исторические и нравственные его сочинения весьма полезными для общества.

Сравнительные жизнеописания, которые до нас дошли и имеют быть изданы на русский язык, суть следующие:

- Тесей и Ромул
- Ликург и Нума
- Солон и Попликола
- Фемистокл и Камилл
- Перикл и Фабий Максим
- Алкивиад и Гай Марций
- Тимолеонт и Эмилий Павел
- Пелопид и Марцелл
- Аристид и Марк Катон
- Филопемон и Тит
- Пирр и Гай Марий
- Лисандр и Сулла
- Кимон и Лукулл
- Никий и Красс
- Серторий и Эвмен
- Агесилай и Помпей
- Александр и Цезарь
- Фокион и Катон
- Агис и Клеомен и Тиберий и Гай Гракхи
- Демосфен и Цицерон
- Деметрий и Антоний
- Дион и Брут
- Артаксеркс
- Арат
- Гальба
- Отон

Не дошли до нас жизнеописания:

Эпаминонда – Сципиона Африканского – Августа – Тиберия – Гая Цезаря – Вителлия – Геракла – Гесиода – Пиндара – Аристомена – Сократа и некоторых других.

Сочинения Плутарха переданы почти на все новейшие европейские языки. Первый перевод издан на французском языке при восстановлении наук Амио в царствование Генриха II, в 1558 году*. Этот перевод и поныне почитается прекрасным, несмотря на многие его погрешности и великую перемену в языке. Перевод господина Дасье, изданный после Амио через пол-

тора ста лет, когда язык французский достиг уже совершенства, не унижил нимало достоинства первого в глазах знатоков. Хотя перевод Дасье более читают, Амио заслуживает благодарность нашу не только как хороший переводчик, но, сверх того, как ученый-эллинист, исправивший во многих местах недостатки подлинника. Он ездил в Италию для отыскания рукописей, которые отличал с великим старанием. Никто из переводчиков прозаического автора не приобрел такой славы, какую приобрел Амио. Не должно забыть и того, что он перевел все сочинения Плутарха, Дасье перевел одни жизнеописания.

С перевода Амио Плутарх был переведен на английский язык в царствование королевы Елизаветы. До времен Драйдена не было другого перевода. Этот великий человек унижил себя тем, что несовершенному труду многих других переводчиков придал свое славное имя. Публика была обманута. Этот перевод был, однако, много раз переправлен и вновь издан по сличению с переводом Дасье в 1728 году. После того вновь был очищен от многих ошибок и издан в 1758 году. При всем том, жизнеописания Плутарховы были, можно сказать, изуродованы. Наконец, двое братьев, Джон и Уильям Лангорны, перевели жизнеописания с греческого подлинника. В 1805 году было девятое издание их перевода.

На немецком языке несколько переводов Плутарха. Особенное внимание заслуживает перевод Кальтвассера, изданный в 1799 году.

Русская словесность ежедневно обогащается полезнейшими книгами, переводимыми с разных языков. Кажется, настало то время, в которое все отстают от чтения бесполезных книг, дабы заняться теми, которые способствуют образованию человека. В этой эпохе, в которой Гомер, Вергилий, Тацит, Саллюстий и другие великие писатели, образцовые в своем роде, находят достойных переводчиков, удивительно, что забыт Плутарх, из всех, может быть, полезнейший, Плутарх, который прославил хорошего переводчика, когда только его имел. Не удостоился ли Амио хорошим своим переводом Плутарха быть в числе образователей французского языка? Причиной тому, что Плутарх не переведен на русский язык, должно полагать непростительное пренебрежение к греческому языку, которому русские менее всех просвещенных народов учатся. Может быть, многочисленность сочинений Плутарха устрашала любителей словесности, занятых важнейшими делами.

Я очень чувствую, что чем писатель славнее и известнее, тем более требуют от переводчика; чувствую и то, что при моем усердии и трудолюбии не могу надеяться на славу даже посредственного переводчика, ибо русский язык мне не родной, а приобретен мной постоянным и долговременным трудом. Однако, видя, сколь число посредственных переводчиков велико и что нередко публикой они терпимы по недостатку в лучших, я дерзнул вступить на опасное поприще. Сколь ни дурен мой перевод, думал я, однако он довольно верен, по возможности близок к оригиналу – достоинство немаловажное, особенно когда позволяет лучших авторов, древних и новых, переводить с французских, не всегда хороших переводов! Плутарх сам не избежал жесткого жребия – быть переведенным с французского перевода. Этот перевод не приносит никому ни пользы, ни удовольствия, но мои труды помогут какому-нибудь искуснейшему переводчику перевести Плутарха исправнее. За четыре года я издал несколько избранных жизнеописаний для опыта. Они были удостоены всемилостивейшего Его Императорского Величества воззрения, и многие особы, известные своею ученостью, не менее как и знаменитостью сана своего, уверили меня, что мой перевод был им не противен.

Ободренный этим благосклонным отзывом, я получил новые силы к продолжению долговременного и трудного занятия – я решился перевести как жизнеописания Плутарха, так и лучшие из других его сочинений. Я почитаю долгом благодарности трудиться для общества, которому обязан образованием. Но при всей своей охоте перевести сочинения Плутарха, находясь почти в конце своего подвига, признаюсь, что для славы сего великого человека, для пользы русской словесности, для большего удовольствия любителей чтения решился бы – после пяти-

летних трудов – отстать от своего предприятия, коль скоро бы удостоверился, что более искусный человек занимается таковым переводом.

Излишнее было бы говорить о трудностях, встречающихся в переводах с древних языков; оные многообразны и касаются больше ученых. Важнейшая из них происходит от различия нравов, древних и наших. Хотя человек всегда человек, но в разные времена, при различных обстоятельствах понятия его о вещах, чувства и страсти подвержены разным изменениям, которые представляют сего хамелеона как бы в другом виде. От этого происходит, что сочинения других народов, и даже нашего народа, писанные за несколько веков, кажутся нам странными; мы находим в них выражения и мысли, нам неприятные потому только, что они не наши; мы говорим, что в них нет вкуса, чистоты во нравах, ибо самолюбие уверяет нас, что вкус наш есть самый лучший. Сколь были бы мы осторожнее в своих суждениях, когда бы каким-либо чудом могли предугадать, какое мнение будут иметь потомки о сочинениях, славящихся в наше время! Сколь многие писатели, удивлявшие своих современников, сделались посмешищем потомства! По этой причине мы должны умерять строгость, с какой судим о некоторых недостатках, открываемых в древних писателях, и, если можно, оставлять без внимания места, противные нашим понятиям. Такие места тем виднее, чем более нравы наши отстают от древних и чем менее нам известен образ их мыслей. Россияне, в отличие от тех, кто может получать тщательнейшее воспитание, мало занимаются древними языками, не полагая их основанием своей учености. И по этой причине сочинения древних на русском языке не всегда имеют успеха, хотя язык сам по себе способнее других новейших языков к таковым переводам.

Можно иногда смягчать выражения, слишком противные нашему уху, но преобразовывать своего автора, то прибавляя, то отсекая, не есть дело переводчика, который, по моему мнению, не должен скрывать и самих недостатков своего писателя, ибо верность есть первая его обязанность. Если всякий переводчик вздумает поправлять своего автора по-своему, то какое будет разнообразие в переводах! Сколько всякий перевод будет различен от подлинника! Не должно забывать и того, что иные любопытные читатели хотят иметь автора таковым, как он есть, дабы лучше узнать дух, господствовавший в том веке, в котором он писал.

Я должен нечто сказать об употреблении греческих и латинских имен. Россияне, приняв от греков веру, письмена и несколько понятий исторических, философских и прочих, сохранили во всех иностранных именах греческий выговор X века. Так, например, они говорят: «Авраам», а не «Абрагам»; «Феодосий», а не «Теодозий», «Киликия», а не «Цилиция». Латинские имена произносили по примеру греков, говоря «Кесарь», вместо «Цезарь», «Патрикий» вместо «Патриций». Так россияне употребляли эти имена до XVIII века, когда начали заимствовать многие понятия у европейцев, придерживающихся латинского выговора. Многие начали употреблять латинский, но другие следовали греческому по примеру славянских книг. Вскоре некоторые, не заботясь ни о греческом, ни о латинском, следовали выговору французскому; и они-то пишут: «Симон», «Эшиль» и проч. Кто в этом выговоре узнает «Кимона», или «Цимона», и «Эсхила»? Простительно ли портить имена и приводить в замешательство читателя, который может принять афинянина

Кимона за иудея Симона? Так случиться может, что в русской книге найдем: Сезарь, Тюсидид, Аристот, Амброаз – и не узнаем этих великих мужей. Что касается меня, то я следовал выговору, прежде россиянами употребляемому, и отступал от него только в таких случаях, когда какое-либо имя не иначе могло быть узнано, как по латинскому выговору. Так например, пишу: «Тесей», «Аякс», и не «Фисей», «Эант», во всех других случаях наблюдая греческий выговор, хотя многим он уже кажется странным. Впрочем, те, кто хочет, чтобы мы писали: «Демостен», «Темистокл», «Лесвос», пусть сами начнут писать: «Атены», «Тебы» и т. д. вместо «Афины», «Фивы» и проч.

Желая сделать эту книгу полезнее для читателей, особенно для тех, кто не весьма знаком с древней историей, я обогатил ее замечаниями Дасье, Мезерая, Клавье, Рюальда, Корая, братьев Лангоры и некоторых других. Моих замечаний очень мало.

Можно предупредить некоторых читателей, чтобы они не судили о всех сочинениях Плутарха по двум первым жизнеописаниям, которые, будучи большей частью баснословны, не могут удовлетворить строгим любителям истины.

Спиридон Дестунис

Тесей и Ромул

Тесей

Как землеописатели, полагая неизвестные им страны на краях карт своих, делают обыкновенно замечания: «Далее безводные, песчаные степи, жилища диких зверей», или: «Непроходимые болота», или: «Скифские морозы», или: «Ледовитые моря», так и я, Сенецион!* В этих сравнительных жизнеописаниях, пройдя через времена, основывающиеся на вероятности и объемлемые историей, описывающей в связи все происшествия, мог бы сказать о делах отдаленнейших времен: далее сего – страна вымыслов и чудовищ, обладаемая стихотворцами и баснословами – нет в ней ни достоверности, ни света. Но по издании жизни Ликурга и Нумы думал я, что не неприлично будет взойти до Ромула, к временам которого приблизились мы повествованием. Рассматривая, как говорит Эсхил*:

Кто может с мужем сим сравниться?
Кто стать против него дерзнет и с ним сразиться?

Показалось мне, что основателя прекрасных и пресловутых Афин можно противоположить отцу непобедимого и славой гремящего Рима. Желали бы мы, чтобы это повествование, очищенное разумом от всякого баснословия, приняло вид истинной истории. Но там, где баснословие упорно противится вероятности и не согласуется с тем, что достоверно, мы имеем нужду в читателях снисходительных, которые принимали бы с кротостью описание столь отдаленной древности.

Тесей во многом сходен с Ромулом; оба они родились во мраке неизвестности; оба почитаются рожденными от богов:

Военной славой они блистали оба*,

и с храбростью сопрягали благоразумие. Один построил Рим, другой населил Афины – города, славнейшие в мире; и тот и другой похищали женщин; ни один не избежал домашних несчастий и вражды с родственниками; перед самой кончиной навлекли они на себя негодование своих сограждан – если в жизни их можно почесть истинным то, что менее странно и чудесно.

Тесей происходит со стороны отца от Эрехтея и от первых автохтонов; со стороны матери – от Пелопа*. Этот Пелоп был сильнейший из пелопоннесских царей – как по великому своему богатству, так и по множеству детей своих. Многих дочерей выдал он за самых знатных граждан, а сыновей поставил во главе городов. Из числа их Питфей, дед Тесея, основал небольшой город Трезена* и славился как человек самый мудрый и ученый в своем веке. Мудрость тогдашнего времени была подобна той, какой Гесиод* отличил себя в творении своем «Труды и дни», содержащем нравоучительные мысли. Говорят, что стихотворец этот заимствовал у Питфея правило сие:

Обещанною мздой да будет друг доволен.

То же самое говорит и Аристотель*. Еврипид, называя Ипполита воспитанником непорочного и мудрого Питфея, показывает, какого о нем были мнения.

Эгей просил детей у богов. Пифия изрекла известное всем прорицание, которым повелевала ему не иметь связи ни с какой женщиной до прибытия в Афины. Но прорицание не было довольно для него ясно. Приехав в Трезену, сообщил он его Питфею, звучащее так:

Не смей развязывать ноги встающей меха,
Доколе, государь, в Афины не прибудешь.

Неизвестно, как Питфей понимал это изречение; однако убеждением или обманом склонил Эгея вступить в связь с Этрой. Эгей, узнав, что она была дочь Питфия, и уверясь в ее беременности, скрыл свой меч и обувь под большой, пустой внутри камень. Он объявил об этом одной только Этре и сказал при том, что если родится от него сын и, возмужав, будет в силах поднять камень и взять то, что под ним лежит, то она должна прислать его к нему самым тайным образом. Он страшился пятидесяти Паллантидов*, которые злоумышляли против него и презирали его за бездетство; после того отправился он в Афины.

Этра родила сына. По словам некоторых, назвали его Тесеем при самом рождении, от положения знаков под камень, а по мнению других, так назван он после в Афинах, когда Эгей признал его своим сыном*.

Тесей во время пребывания своего у Питфея имел наставником своим некоего Коннида, которому и поныне афиняне приносят в жертву овна за день до Тесеева праздника. Таким образом, они помнят и почитают его с большею справедливостью, нежели Силланиона и Паррасия*, которые сделали лишь изображения и кумиры Тесея.

В то время выходящие из отрочества юноши имели обычай отправляться в Дельфы и посвящать Аполлону свои волосы. Этому обычаю последовал и Тесей. Говорят, что место, именуемое Тесея, где происходил обряд этот, от него получило свое название; он остриг только переднюю часть головы, подобно абантам*, как говорит о них Гомер. Этот вид стрижки был назван «Тесеевым». Абанты первые стригли таким образом свои волосы, не переняв того ни у арабов, ни у мисийцев*, как некоторые уверяют, но, будучи воинственными и смелыми в сражениях, имели привычку хвататься руками за неприятелей, как свидетельствует о том Архилох*:

Нет вовсе стрел у них; луков не напрягают;
Из пращей на врагов камней не бросают.
Коль Марс возжет войну в бесстрашных их сердцах,
Они сражаются на острых лишь мечах.
Сим образом войны и славны и велики
Эвбеи храбрые и мощные владыки.

И так они стригли волосы свои, дабы неприятели за них не хватались. Из этих соображений Александр Великий приказал своим полководцам обрить македонянам бороды, за которые в сражениях могли хвататься неприятели.

Этра скрывала истинное происхождение Тесея. Питфей распустил слух, будто он рожден Посейдоном. Трезенцы особенно почитают сего бога. Он покровитель их города; ему приносят начатки плодов, а на монетах их изображен трезубец.

Достигая юношеских лет, при умножении сил телесных обнаруживал Тесей крепость и высокий дух, соединенные с благоразумием и твердостью; тогда Этра привела его к камню, объявила ему истинное его происхождение, велела достать из-под камня оставленные отцом его знаки и плыть в Афины. Тесей без труда поднял камень, но плыть морем отказался, невзирая ни на безопасность этой дороги, ни на просьбы матери и деда. Дорога в Афины сухим путем была весьма опасна. Не было места спокойного и не занимаемого разбойниками и зло-

деями. Тот век, как говорят, произвел людей, проворством в руках, легкостью ног, телесной крепостью необычайных и неутомимых, которые, однако, не употребляли этих природных даров ни к чему полезному и похвальному. Они гордились надменными и дерзкими поступками, употребляли силу свою с лютостью и зверством, желая только покорять, насильничать, истреблять все, что им ни попадалось. Они верили, что скромность, справедливость, права, человеколюбие несколько не нужны тому, кто других сильнее; что качества эти прославляются лишь теми, которые не имеют смелости обижать и сами боятся обиды. Геракл, объезжая землю, истребил и умертвил часть этих злодеев. Остальные скрывались в ужасе и были презираемы по причине своего унижения. Но после того как Геракл, убив, по несчастию, Ифита, удалился в Лидию и долгое время служил там Омфале, осудив себя на то самовольно за убийство своего друга*, Лидия наслаждалась ненарушимым спокойствием и тишиной, зато в Греции злодеяния вновь возникли и распространились по всей стране: не было никого, кто бы укротил злодеев. По этой причине дорога сухим путем из Пелопоннеса в Афины была пагубна. Питфей, называя Тесею каждого из этих разбойников, описывая поступки их с иноземцами, уговаривал его ехать морем. Но Тесея давно уже волновала слава подвигов Геракла. Более всех уважал этого героя; с жадностью слушал повествовавших о его деяниях, особенно же тех, кто видел его и был свидетелем подвигов его и речей. Тесей испытывал те же самые чувства, какие много позже испытывал Фемистокл, признавшийся, что его лишает сна трофей Мильтиада. Подобным образом Тесею, удивлявшемуся доблести Геракла, ночью снились его подвиги; днем ревность воспаляла его к произведению подобных. Более того, были они связаны между собой родством. Матери их были двоюродные сестры. Этра была дочь Питфея, Алкмена же дочь Лисидики. Лисидика и Питфей были дети Пелопа и Гипподамии.

Тесей почитал для себя постыдным избегать очевидных опасностей тогда, когда Геракл искал повсюду злодеев и от них очищал моря и земли. Он думал, что, отправясь морем, как бы избегая случая сразиться, бесславил того, кто, по общему мнению, был его отцом; между тем как настоящему отцу, дабы показать, кто он таков, приносил лишь обувь и меч, кровью не обагранный, – вместо того чтобы смелыми и похвальными трудами доказать ему благородство своего происхождения. С таким духом и намерением пустился он в путь; он решился никого не обижать, но наказать тех, кто против него употребил бы насилие.

В землях Эпидавра встретил он Перифета*, употреблявшего палицу вместо всякого другого оружия и по этой причине называвшегося Коринитом (палиценосцем). Перифет хотел его остановить. Тесей вступил в бой с ним и умертвил его. Эта палица столь ему понравилась, что носил ее всегда с собой так, как Геракл львиную шкуру. Одному шкура эта служила доказательством огромности умерщвленного им зверя; другой показывал, что побежденная им палица с ним будет непобедима.

На Коринфском перешейке наказал он Синиса Питиокампа, или сгибателя сосен*, той же смертью, какой Синис многих погубил. Тесей, не научившись сему искусству и не упражнявшись, показал, что доблесть превосходит всякое искусство и упражнение. У Синиса была дочь, прекрасная и высокого роста, по имени Перигуна. После убийства отца она бежала. Тесей долго искал ее. Она удалилась в место, заросшее дикой спаржею и тростником, и с великой простотой и невинностью просила эти растения, словно они умели чувствовать, скрыть и спасти ее, клятвенно обещая им никогда не ломать и не жечь. Когда же Тесей звал ее и уверял, что будет о ней заботиться и не обидит ее, она вышла. Впоследствии родила она от Тесея сына по имени Меланипп; потом выдана была Тесеем замуж за Деионея, сына Эврита, царя эхалийского. От Меланиппа родился сын Иокс, который вместе с Орнитом завел в Карии поселение. От него происходят иоксиды, которые сохранили обычай не рвать и не жечь тростника и дикой спаржи, но почитать их священными.

Кроммионская свинья, названная Фэей, была свирепым и воинственным зверем, которого победить было нелегко. Тесей мимоходом напал на него сам, дабы не казалось, что все

делает по необходимости, – и умертвил. Он думал, что истинно мужественный не только должен сражаться со злыми, защищая себя, но прилично ему первому нападать на диких зверей и подвергать себя опасности в сражениях с ними. Некоторые говорят, что Фэя была разбойница, лютая и развращенная, жившая в Кроммионе*; что названа свиньей по причине ее злости и дурного поведения и что умерщвлена Тесеем.

Скирона умертвил он около границ Мегариды, бросив его, по общему мнению, со скалы за то, что грабил прохожих. Другие говорят, что этот Скирон, исполненный надменности и жестокости, протягивал ноги свои чужестранцам, приказывал их мыть и тогда же толкал их и свергал в море. Мегарские писатели, противясь общему мнению и, как говорит Симонид, борясь с древностью, уверяют, что Скирон не был ни грабитель, ни злодей, но, напротив, он истреблял разбойников и был связан родством и дружбой со всеми добрыми и правдивыми мужами. Всем известно, говорят они, что Эак почитается беспорочнейшим человеком того времени, что Кихрей Саламинский* боготворим в Афинах, что Пилей и Теламон были весьма добродетельны; Скирон же был Кихрею зять, Эаку – тесть, Пилею и Теламону – дед, ибо они родились от Эндейды, дочери Скирона и Харикло. Вероятно ли, чтобы добродетельнейшие мужи вступили в родство со злодеем, давая ему и приемля от него то, что всего драгоценнее и почтеннее среди людей? Эти писатели утверждают, что не в первом своем путешествии в Афины, но гораздо после Тесей умертвил Скирона, отнял у мегарян Элевсин и изгнал тамошнего правителя Диокла. Вот с какими противоречиями это повествуется!

В Элевсине боролся он с Керкионом Аркадянином и умертвил его. Далее, в Герме, умертвил Дамаста, прозванного Прокрустом*, сравнив его с длиной кровати, так как он сам поступал с другими. Тесей подражал этим Гераклу, который наказывал нападающих на него той же казнью, какую они ему приготовляли. Так принес он в жертву Бусириса, задушил Антея в борьбе, Кикна* победил в единоборстве, а Термеру раздробил голову – от чего произошла пословица: «Термерийская беда». Говорят, что Термер попадавшихся ему умертвлял, ударяя их своею головой. Тесей подвергал злодеев тем самым наказаниям; они претерпевали от него те мучения, которые других терпеть заставляли; изобретениями несправедливости справедливо были наказаны.

Продолжая путь свой, дошел он до Кефиса, на берегах которого встретился с мужами из рода Фиталидов* и принят был ими благосклонно. По его просьбе они очистили и освятили его по обрядам, принесли жертву для умилоствления богов и, наконец, угостили его в своем доме. До них не был он никем гостеприимно принят.

В Афины прибыл он в восьмой день месяца крония, который ныне называется гекатомбеоном*. По прибытии своем нашел он общество, исполненное мятежей и раздоров, а дом Эгеев в великом неустройстве. Медея, убежавшая из Коринфа, обещав избавить Эгея от бездетности своими зельями, жила с ним. Она предчувствовала приход Тесея. Эгей, уже старый и всего боявшийся по причине крамол и мятежей, ничего не знал о нем. Медея убедила его отравить ядом Тесея, как чужестранца, на пиршестве, для него уготованном. Тесей, придя к столу, не хотел объявить, кто он таков: но, чтобы предоставить отцу возможность самому узнать его, обнажил свой нож, намереваясь резать мясо, перед ним стоявшее, и показал старику меч. Эгей тотчас узнал его, опрокинул чашу с ядом, призвал его к себе, обнял и, созвав граждан, признал его сыном своим. Все они приняли его с удовольствием по причине его доблести. Место, где сосуд был опрокинут, называемое ныне Дельфиний, обнесено стеной. Тут был двор Эгея. Изображение Гермеса, стоящее на восточной стороне храма, называется «Гермесом у Эгеевых врат».

Паллантиды до той поры надеялись, что царство достанется им, когда Эгей умрет бездетен. Но как скоро Тесей был признан наследником престола, то они, не терпя, чтобы после Эгея, который сам был усыновлен Пандионом и не имел никакого родства с родом Эрехтея, царствовал Тесей, пришелец и чужеземец, принялись за оружие. Они разделились на две части:

одни явно шли против города во главе с Паллантом со стороны Сфетта; другие устроили засаду в Гаргетте*, чтобы с двух сторон напасть на противников. У них был вестником некто агнунтиец, по имени Леой, который открыл Тесею злоумышления паллантидов. Тесей напал неожиданно на бывших в засаде и полностью истребил их. Следовавшие за Паллантом рассеялись, как скоро узнали о поражении. С того времени, говорят, граждане из племени Паллена не вступают в брак с агнунтийцами, и глашатаи не кричат никогда, по обыкновению других жителей Аттики, слова: «Акуэте Леой»*. Им ненавистно имя Леой по причине его измены.

Тесей, не желавши жить в бездействии, дабы привлечь к себе любовь народа, пошел против Марафонского вола, который немало беспокоил жителей Тетраполиса*. Он одолел его, провел живого через город и принес в жертву Аполлону Дельфинию.

Что касается Гекалы, которая приняла к себе и угостила Тесея, то, кажется, повествуемое о ней не совсем баснословно. Окрестные народы, сходясь, приносили гекалийские жертвы Зевсу Гекальскому и оказывали почести Гекале, иначе называемой Гекалиной, уменьшительным именем, потому что и она, угощая Тесея, который был тогда очень молод, приветствовала его, ласкала и по обычаю старых людей называла его подобными уменьшительными именами. Когда Тесей отправлялся в поход, то она дала обет принести Зевсу жертву, если Тесей возвратится невредим, но умерла до его возвращения. По приказанию Тесея оказываемы ей были почести в награду за ее гостеприимство, как о том повествует Филохор*.

Вскоре после того прибыли из Крита в третий раз посланники царя Критского для взывания подати, наложенной на афинян по следующему случаю: Андрогей, сын Миноса, был коварно убит в Аттике. Минос, мстя за смерть его афинянам, разорял область их. Казалось тогда, что сами боги опустошали землю; сделался неурожай и мор; осушились реки. Аполлон объявил афинянам, что гнев богов укротится и бедствия их кончатся тогда, когда они умолят Миноса и примирятся с ним. Афиняне отправили к нему послов, просили о мире и обязались по договору посылать к нему каждые девять лет* по семи юношей и по семи девиц – в чем большая часть писателей между собой согласны. Юноши и девы, привозимые на Крит, если поверить самому трагическому повествованию, были пожираемы Минотавром* в лабиринте; другие говорят, что, блуждая по нему и не находя выхода, там погибали.

О Минотавре говорит Еврипид:

Сие чудовище, смещение природы

и:

Сей получеловек и вкупе полувол...

Филохор пишет, что критяне опровергают это предание и говорят, что лабиринт был обычной темницей, из которой не могли убежать узники, и что они в нем не были подвержены никакому наказанию; что Минос устраивал игры в память сына своего Андрогей и награждал победителей молодыми афинянами, которые до того содержались в лабиринте. В первых играх одержал победу полководец Тавр, бывший при Миносе в великой силе, человек надменный и жестокий, который с афинскими юношами поступал презрительно и строго. Аристотель сам в сочинении «Государственное устройство Боттии»* не верит, что юноши были предаваемы смерти Миносом, но думает, что они проводили всю жизнь свою в рабстве. Также повествует он, что критяне, исполняя некоторый древний обет, некогда послали в Дельфы своих первородных детей, в числе которых были потомки этих афинских рабов, но не смогли сами прокормиться и отправились в Италию и поселились в Иапиии*; оттуда переселились во Фракию и прозваны боттийцами. По этой причине девы боттийские во время жертвоприношений припевают: «Пойдем в Афины!»

Впрочем, это доказывает, сколь опасно навлекать на себя ненависть города, имеющего, так сказать, голос и покровительствуемого Музами. Миноса неизменно поносили и ругали в афинских театрах. Не помогли ему ни Гесиод, называющий его «царственнейшим», ни Гомер, дающий ему имя «собеседника Крониона». Трагические стихотворцы превозмогли и с высоты сцены покрыли его поношением как насильственного и жестокого человека, хотя вообще говорят, что Минос есть царь и законодатель*, а Радамант – судья и страж установленных им законов.

Когда настало время послать в третий раз дань и имевшим взрослых детей отцам надлежало бросить жребий, то граждане вновь восставали на Эгея: они жаловались и негодовали, говоря, что только он не участвует в этом наказании, будучи виновником всего зла; что, предав царство сыну своему – чужеземцу, незаконнорожденному, взирает на них без жалости, лишенных законных своих детей и остающихся бездетными. Слова эти трогали Тесея. Почитая долгом своим участвовать в судьбе других граждан, захотел он и без жребия вступить в число посылаемых на Крит юношей. Все удивились великости его духа и возлюбили его за привязанность к народу. Эгей истощил все старания и просьбы, дабы отклонить его от сего намерения; но, видя его твердым и непоколебимым в своих мыслях, выбрал по жребию других. Впрочем, Гелланик* уверяет, что на Крит посылали не избранных по жребию, но тех, кого сам Минос приезжал выбирать; что он взял Тесея прежде всех с условием, чтобы афиняне снабдили его судном, на котором бы отправиться ему с юношами, не имеющими при себе никакого оружия, и что смертью Минотавра пресекалась и эта дань. Прежде сего не было никакой надежды к спасению; по этой причине корабль отъезжал с черным парусом, как бы юноши отправлялись к неминуемой гибели. Но Тесей, обнадеживая отца своего и обещая умертвить Минотавра, ободрил его до того, что он дал кормчему корабля другой, белый парус с приказанием поднять его при возвращении, если Тесей спасется; в противном случае оставить черный, дабы издали известить его о своем несчастье. Симонид пишет, что данный Эгеем парус не был белый, но алый, выкрашенный соком цветов ветвистого дерева дуба*, и что был он знаком спасения их. Кормчий его был Ферекл, сын Амарсиада, по словам того же Симонида. Но Филохор говорит, что Тесей взял у Скира кормчего Навсифоя с Саламина; что правящий передней частью корабля был Феак, ибо в то время афиняне не занимались еще мореплаванием*. В числе юношей был и внук Скира Менест. Все это подтверждается еще малыми храмами, посвященными Тесеем Навсифою и Феаку, как героям, в Фалерах близ храма Скира. Праздник, называемый Кибернисий, или «кормческий», отправляется также в честь им.

По избрании всех юношей жребием Тесей взял их из пританея*, пошел с ними в Дельфиний и принес Аполлону за спасение их масляничную ветвь, или ветвь моления. То была ветвь из священного дерева, увитая белым льном. По принесении мольбы своей он сел на корабль шестого числа месяца мунихиона*, в память чего и поныне в день этот посылают афинских дев молиться в Дельфиний. Говорят, что дельфийский бог советовал Тесею принять Афродиту в свои предводители и просить ее быть ему спутницей; что он на берегу моря приносил ей в жертву козу, которая вдруг превратилась в козла; это подало повод назвать богиню Эпитрагией*.

По прибытии на Крит, как пишут историки согласно с поэтами, получил он от влюбившейся в него Ариадны нить, узнал, как можно вырваться из лабиринта, и умертвил Минотавра; потом отплыл, взяв с собой Ариадну и бывших с ним юношей. Ферекид* говорит, что Тесей проломил дно у всех критских кораблей, чтобы они не смогли его преследовать. Демон пишет, что Тавр, полководец минойцев, препятствовавший Тесею отплыть, был убит им на берегу моря.

Однако Филохор повествует, что при проведении игр Миносом все завидовали Тавру, не сомневаясь, что он снова над всеми одержит победу. Тавр был всеми нелюбим за свою надменность; его подозревали также в непроизвольной связи с Пасифаей; и поэтому, когда Тесей захотел вступить с ним в бой, Минос дал ему на то позволение. На Крите не запрещали

женщинам присутствовать при народных позорищах. Ариадна, тут находившаяся, приведена был в изумление красотой Тесея. Еще более восхищалась она им, когда он над всеми одержал победу. Минос столь был доволен победой Тесея над Тавром, что возвратил ему юношей и освободил Афины от дани.

Клидем, начав свою повесть издалека, говорит обо всем по-своему, утверждая, будто бы, по общему греков положению, запрещено было пускаться в море на судне, в котором могло поместиться более пяти человек, и что одному Ясону, управлявшему «Арго», позволено было разъезжать по морям с большим числом для истребления морских разбойников. Однако Дедал, убежав в Афины на корабле, был преследуем Миносом на длинных судах, несмотря на общее греков постановление. Минос занесен был бурей в Сицилию, где и умер. Сын его Девкалион, гневаясь на афинян, требовал от них Дедала, грозя им в противном случае умертвить афинских детей, которых Минос держал у себя заложниками. Тесей отвечал ему с кротостью, что не может выдать Дедала, который был ему близкий родственник, как сын Меровы, дочери Эрехтея. Между тем начал он строить корабли частью в местечке Тиметадах, далеко от большой дороги, частью в Трезене у Питфея, дабы скрыть свое предприятие. Когда все было готово, то он отплыл с морскими силами, имея при себе вожатыми Дедала и других изгнанников с Крита. Никто не был извещен о их приближении. Критяне думали, что то были суда дружественные. Тесей завладел пристанью, вышел на берег, поспешил к Кноссу*, дал сражение перед воротами лабиринта, убил Девкалиона и его телохранителей. После того правление государства перешло к Ариадне, с которой Тесей вступил в переговоры, получил обратно афинских юношей и заключил мир между афинянами и критянами; обе стороны обязались клятвой никогда не возобновлять войны. Равным образом много повествуют о Тесее и Ариадне без всякой достоверности. Одни говорят, что Ариадна, брошенная Тесеем, с отчаяния удавилась; другие – что она перевезена была на остров Наксос и вышла замуж за Онара, жреца Диониса, будучи покинута Тесеем, который влюбился в другую, ибо тогда он, как говорит Гесиод:

Любовью пламенной горел к прекрасной Эгле.

Герей Мегарский говорит, что Писистрат исключил стих этот из сочинений Гесиода и что, желая угождать афинянам, включил в Гомерово «Заклинание мертвых»* следующий стих:

Тесей и Пирифой, сыны богов преславны.

Некоторые уверяют, что Ариадна родила от Тесея Энопиона и Стафила. О первом упоминает хиосец Ион*, говоря об отечестве своем:

Сей град Энопион, Тесеев сын, построил.

Впрочем, достовернейшее из этих баснословных повествований у всех на языке. Но Пеон, родом из Амафунта*, повествует все это другим образом. Он говорит, что Тесей занесен был бурей на Кипр. Ариадна была беременна и от непогоды сошла на берег. Тесей же пустился в море на помощь своему кораблю. Тамошние женщины приняли Ариадну человеколюбиво, старались утешить ее в одиночестве ее, приносили ей подложные письма от Тесея, оказывали ей помощь и сострадание в родах. Она умерла, не разрешась от бремени, и кипрские женщины похоронили ее. Тесей возвратился в то самое время; горесть его была безмерна; он оставил тамошним жителям денег и препоручил приносить Ариадне жертвы. В память любви своей воздвиг он ей два малых кумира, серебряный и медный. В жертвах, приносимых второго числа месяца горпия*, молодой человек должен лечь на постель и подражать голосу и движениям

мучащейся родами женщины. Амафунтяне называют рощу, в которой показывают ее гроб, рощей Ариадны-Афродиты.

Некоторые писатели с Наксоса утверждают, что было два Миноса и две Ариадны. Одна из них была женой Диониса на острове Наксос и родила Стафила. Младшая, похищенная и оставленная Тесеем, приплыла к тому же острову со своею кормилицей Коркиной, чью гробницу показывают и поныне. Эта Ариадна умерла на Наксосу, но не оказываются ей почести такие, как первой. Праздники в честь старшей отправляются с весельем и играми, праздники последней смешаны с печалью и унынием*.

Тесей, отправясь с Крита, пристал к Делосу*. Он принес жертвы Аполлону, посвятил Афродите кумир, полученный им от Ариадны, и вместе с юношами завел пляску, которая и поныне в употреблении у жителей Делоса; эта пляска представляет разные извороты лабиринта: производятся мерные движения то в одну сторону, то в другую. Этот танец делосцы называют «журавль», как пишет Дикеарх. Тесей также плясал во круге жертвенника Кератона*, которой составлен из левых рогов животных. Говорят, что в Делосе устроил он игры, в которых победители получали от него пальмовую ветвь.

Приближаясь к Аттике, Тесей и его кормчий от великой радости своей забыли поднять белый парус, которым надлежало возвестить Эгею о своем спасении. Эгей с отчаяния бросился со скалы и погиб. Между тем Тесей, пристав к Фалерам, принес богам жертвы по своему обету и послал в город вестника, чтобы уведомить о своем возвращении. Направляясь в город, вестник встретился со многими гражданами, одни из которых оплакивали кончину своего царя; другие, радуясь, были готовы принять его и украсить венками из цветов за спасение юношей. Вестник принял венки и украсил ими только свой жезл; он возвратился на берег моря прежде, нежели Тесей совершил приношение, и остался вне храма, дабы не смутить жертвы. По совершении жертвоприношений объявил он Тесею о смерти отца его. Тесей и его спутники с плачем и шумом спешили к городу. По этой причине и ныне, в праздник Осхофорий, или ветвей, украшают венками не вестника, а его жезл, и по окончании жертвы все присутствующие кричат: «Элелеу! Иу-иу!» Первый их них – крик спешащих и поющих победную песнь; второй означает изумление и смущение.

Похоронив отца своего, Тесей принес Аполлону обеты свои – седьмого числа пианепсиона, в которое возвратился в Афины. Касательно обычая варить земляные овощи говорят, что он произошел от того, что спасшиеся с Тесеем, собрав вместе оставшиеся у них припасы, сварили их в одном котле и ели за общим столом. Другой обычай – выносить иресиону, маслянистую ветвь, увитую льном и обвешенную разными молодыми плодами, – произошел от того, что тогда кончилось бесплодие в Аттике. В то самое время поют следующие стихи:

Иресиона, ветвь божественна! С собой
Несешь нам смоквы, хлеб, в сосуде мед златой.
Обильною струей ты масло изливаешь,
И сладостным вином печали утоляешь.

Однако некоторые уверяют, что этот обряд введен в память Гераклидов*, которых несколько времени содержали афиняне. Но большая часть держится того, что нами здесь описано.

Корабль, на котором отправился и возвратился Тесей, был тридцативесельный; афиняне хранили его в целости до времен Деметрия Фалерского*. Старые доски снимали, на место их клали новые так, что корабль этот служил философам примером в прении о понятиях возрастания, ибо одни говорили, что корабль этот всегда был один и тот же, другие утверждали тому противное.

Праздник Осхофорий*, или ветвей, также установлен Тесеем. Говорят, что он взял с собой на Крит не всех девиц, которым надлежало по жребию с ним ехать, но избрал из числа молодых людей двух своих приятелей, с виду женоподобных и нежных, душой же мужественных и бодрых. Он заставил их мыться в теплых банях, вести жизнь изнеженную в тени, употреблять разные притирания, придающие гладкость и цвет коже, убирать свои волосы, наряжаться, голосом, видом и походкой совершенно уподобляться девицам. Он включил их в число девиц так скрытно, что никто не знал того. По возвращении своем вел в торжественном шествии юношей, одетых так, как ныне одеваются осхофоры. Носят же их в честь Диониса и Ариадны, следуя тому, что выше нами упомянуто, или потому, что возвратились они в то время, когда собираются плоды.

Так называемые дипнофоры, или женщины, приносящие ужин, участвуют в торжественных обрядах, доставляя матерей этих юношей, которые приносили им разные кушанья. Они рассказывают повести, потому что матери рассказывали тогда сказки своим детям, утешая и ободряя их. Все это повествует и Демон. Тесею был посвящен удел земли. Он велел тем семействам, что платили прежде дань Миносу, вносить сбор по жертвоприношению, а ведать за этим священнодействием поручил фиталидам в награду за их гостеприимство.

После кончины Эгея предпринял он великое и достохвальное дело. Он собрал всех населивших Аттику жителей в один город и составил из них один народ. До того времени жили они рассеянно и с трудом собирались тогда, когда надлежало советоваться о благе общем. Происходившие между ними раздоры нередко доходили до брани. Тесей переходил из селения в селение, из семейства в семейство, уговаривал и увещевал их. Простые и бедного состояния люди принимали охотно его советы; сильным обещал он правление демократическое, а не самодержавное, предоставляя себе право предводительствовать на войне и быть хранителем законов; всем другим надлежало иметь равные права. Одни были убеждены его представлениями; другие, боясь великой его силы и смелости, предпочли исполнить его волю, повинаясь более его словам, нежели принуждаясь силой. Он уничтожил разные пританеи, советы и судилища и построил один, для всех общий пританей и совет на том месте, где стоит и поныне*. Весь город назвал Афинами и учредил общее жертвоприношение, которое называется Панафиней*. Сверх того установил Метэкии*, или праздник переселения, и жертвы, которые и поныне приносят в шестнадцатый день месяца гекатомбеона. После того сложил он царскую власть так, как обещал народу, и начал устраивать правление, посоветовавшись наперед с богами. Дельфийское прорицалище дало ему о городе следующий ответ:

Тесей, Эгеев сын! Познай, что мой отец
Судьбу и счастье градов и весей многих с твоим соединил.
Излишно ты своей не утруждай души. Покоен будь, надежен.
Подобно воздухом надутому меху,
Средь бурей и валов град невредим пребудет.

Спустя долгое время после того Сивилла также прорекла городу:

Надутый мех хоть в воду погрузится,
Но не утонет никогда*.

Чтобы более умножить число жителей, Тесей давал всем равные права. Известное общенародное провозглашение: «Сюда придите все народы!» установлено Тесеем, который учредил некоторым образом всеобщее гражданство. Однако не оставил демократии беспорядочной, смешанной из стекшегося отовсюду народа, без всякого различия состояний. Он первый разделил народ на эвпатридов (благородных), на геоморов (землевладельцев) и на демиургов (ремес-

ленников). Эвпатридам дал право выбирать начальствующих, быть наставниками в законах, истолкователями всего, касающегося до богослужения и священных обрядов, и таким образом ввел между всеми равновесие, ибо эвпатриды превосходили других достоинством, геоморы – пользой и демиурги множеством своим. Мнение Аристотеля, что Тесей прежде всех склонился к народоправлению и отказался от самовластия, подтверждает и Гомер, который, исчисляя корабли греческие, одних афинян называет «демос» (народ). Тесей выбил монету, на которой изобразил вола, знаменуя тем или вола Марафонского, или полководца Миносова, или желая побудить граждан к земледелию. Отсюда, как говорят, произошли выражения «ценой сто быков», «ценой десять быков».

Присоединив Мегариду к Аттике, воздвигнул он в Истме столь известный всем столп*, на котором надписал два стиха, показывающие пределы двух областей. На восточной части было написано:

Иония здесь, не Пелопоннес.

На западной:

Здесь Пелопоннес, а не Иония.

Подражая Гераклу, учредил он игры Истмийские, желая, чтобы греки торжествовали эти установленные им игры в честь Посейдону, так как Олимпийские, установленные Гераклом, в честь Зевса*. Игры, отправляемые прежде на месте этом в память Меликерту*, происходили ночью и более были подобны священным обрядам, нежели позорищам, или торжествам. Другие говорят, что он установил Истмии для очищения себя от убийства Скирона, родственника своего, который был сын Канета и Гениохи, дочери

Питфея. Другие утверждают, что он установил эти игры в память умерщвления Синиса. Он определил, чтобы коринфяне уступали председательство афинянам, присутствующим на Истмиях, и столько места, сколько может занять распростертый парус корабля, именуемого феорида, как о том повествуют Гелланик и Андрон Галикарнасский*.

Тесей отправился в Эвксин, как Филохор и некоторые другие уверяют, соратоборствуя Гераклу в предприятии против амазонок*, и в награду за храбрость свою получил Антиопу; но большая часть историков, в числе которых Ферекид, Гелланик и Геродор*, утверждают, что Тесей отплыл после Геракла на собственных своих кораблях и взял Антиопу в плен. Мнение это достовернее, ибо нигде не писано, чтобы кто-либо другой из соратовавших ему взял в полон какую-нибудь амазонку. Бион говорит, что Тесей похитил Антиопу обманом и удалился. По словам его, амазонки, будучи склонны к любви, не только не убежали от Тесея, приставшего к берегам их, но еще прислали ему подарки. Тесей просил войти на корабль амазонку, принесшую их, и тотчас отплыл, взяв ее с собой.

Но некто по имени Менекрат, издавший историю о вифинском городе Никея, уверяет, что Тесей пробыл несколько времени в стране этой с амазонкой Антиопой; что из Афин сопровождали его трое юношей, родных братьев, имена которых Эвней, Фоант и Солоэнт. Последний из них, влюбившись в Антиопу, скрывал страсть свою от своих братьев, но открыл ее одному из друзей своих, который не преминул о том объявить Антиопе. Амазонка отвергла его любовь, но признание это перенесла кротко и благоразумно и не дала знать о том Тесею. Солоэнт с отчаяния от любви бросился в реку и утонул. Тесей узнал причину смерти юноши и был ею тронут. В печали своей вспомнил об изречении пифии, которая ему повелела, если в чужой земле почувствует великую горесть, то построить на том месте город и оставить начальником одного из друзей своих. Тесей, следуя прорицанию, построил город и назвал его Пифополем по имени Пифии, а ближайшей реке дал имя Солоэнт – в честь юноши. Братьев его оставил в

том городе правителями и хранителями законов и вместе с ними Герма, благородного афинянина, по имени которого пифополитанцы одно место в городе называют домом Гермеса и из-за неправильного произношения приписывают богу Гермесу ту славу, которая принадлежит герою.

Похищение Антиопы было поводом к войне амазонской, которую нельзя почесть делом маловажным и женским. Амазонки не расположили бы стана своего в самом городе, не дали бы сражения близ Пникса и Мусея*, когда бы не напали на сам город, овладев наперед всею областью. Трудно поверить свидетельству Гелланика, который говорит, будто бы они прошли Боспор Киммерийский* по льду; но что они стояли лагерем в самом городе, то подтверждается как именами мест, так и гробницами павших на сражении.

Долгое время обе стороны колебались недоумением и были в нерешимости. Наконец Тесей, следуя некоему прорицанию, принес жертву Ужасу и вступил в бой. Сражение это дано было в месяце боэдромионе, в который афиняне и поныне отправляют торжество Боэдромий*. Клидем, описывая все подробно, говорит, что левое крыло амазонок обращено было к месту, называемому ныне Амазония; правое достигало до Пникса, к стороне Хрисы; что афиняне сражались против этого крыла, напав на него со стороны Мусея; что гробницы павших находятся на улице, ведущей к воротам, которые ныне называются Пирейскими, близ храма героя Халкодонта, где афиняне были разбиты и принуждены отступить перед сими женщинами до храма Эвменид; что, учинив на них нападение из Палладия, Ардетта* и Ликея разбили правое их крыло, прогнали до стана и многих умертвили; что в четвертый месяц заключен мир посредством Ипполиты – так называет он жену Тесея, а не Антиопой. Некоторые говорят, что она, сражаясь подле Тесея, пронзена была копьем Молпадии и что близ храма Геи Олимпийской* воздвигнут над нею памятник. Впрочем, нимало не удивительно, что повествование об этих древних происшествиях столь малодостоверно. Пишут также, что раненые амазонки посланы тайно Антиопой в Халкиду* для излечения и некоторые из них погребены там на месте, называемом Амазонием. То, что война эта кончилась миром, об этом свидетельствуют как место близ храма Тесея, называемое Горкомосией, или местом клятвы, так и жертва, приносимая амазонкам незадолго до Тесеева празднества. Мегаряне также показывают у себя могилу амазонок на месте, называемом Рус (то есть «Поток»), идучи с площади, где находится здание, имеющее вид ромбоида. Некоторые также уверяют, что иные пали при Херонее и погребены близ ручейка, который древле назывался Фермодонт, а ныне Гемон, как сказано в жизнеописании Демосфена. Амазонки прошли не без трудностей через Фессалию. И поныне показывают гробы их при Скотуссе и Киноскефалах.

Вот что кажется мне достопамятнейшим в истории амазонок! Касательно возмущения их, описанного автором «Тесеиды», который уверяет, что Антиопа с амазонками мстила Тесею за брак его с Федрой и что Геракл умертвил их, то все это баснословно и выдуманно. Тесей женился на Федре по смерти Антиопы, от которой имел сына Ипполита*, а по уверению Пиндара – Демофонта. Должно полагать, что бедствия его жены и сына, поскольку в оных истории с трагиками не разногласны, случились так, как всеми описываются.

Много еще говорят о браках Тесея, которые не были предметом трагедии. Эти браки не имели ни похвального начала, ни счастливого конца. Уверяют, что он похитил некоторую Анаксо из Трезены; что, умертвив Синиса и Керкиона, употребил насилие против дочерей их; что женился на Перибее, матери Аякса, потом на Феребее и на Иопе, дочери Ификла; что, влюбившись в Эглу, дочь Панопея, как писано выше, оставил Ариадну – поступок, противный чести и справедливости. Всего более поносят похищение Елены, которое наполнило Аттику бедствиями войны и было причиной изгнания его и гибели, о чем будем говорить позже.

В то время храбрые мужи Греции ознаменовали себя великими подвигами; но Геродор уверяет, что ни в котором из них не участвовал Тесей, кроме сражения лапифов с кентаврами. Другие, напротив того, говорят, что он был в Колхиде с Ясоном и что способствовал Мелеагру

в убиении вепря, от чего произошла пословица: «Не без Тесея»*; что он без помощи других произвел дела великие и прекрасные так, что о нем говорили: это другой Геракл. Известно, что он способствовал Адрасту в получении тел убитых в Кадмее воинов, не победив в сражение фиванцев, как Еврипид пишет в своей трагедии, но склонив их заключить с ним мир – в чем большая часть писателей согласна. Филохор пишет, что то был первый договор, заключенный о выдаче мертвых тел. Однако Геракл первый возвратил тела эти неприятелю, как сказано нами в его жизнеописании*. Гробницы простых воинов показываются в Элевферах*, а полководцев в Элевсине, ибо Тесей позволил погребсти их там, уважив просьбу Адраста. То, что писано Еврипидом в трагедии «Просительницы», опровергается Эсхиловой трагедией под названием «Элевсинцы», в которой Тесей повествует о тех событиях, что нами здесь описаны.

Дружба его с Пирифоем* началась следующим образом. Когда слава о великой силе и храбрости Тесея всюду распространилась, то Пирифой, желая ее испытать, похитил волов его, пасшихся на Марафоне. Узнав, что Тесей, вооруженный, преследует его, он не предался бегству, но обратился против него. Взглянув один на другого, удивились они красоте друг друга, уважили взаимную смелость и удержались от сражения. Пирифой первый простер руку, просил Тесея быть самому судьей в этом похищении, обещаясь добровольно подвергнуться такому наказанию, какое на него наложит. Тесей простил его и предложил союз и дружбу, которую они утвердили клятвой.

Пирифой, женившись на Деидамии, просил Тесея обозреть его область и пробыть несколько времени среди лапифов*. Он звал на пиршество и кентавров, наглые поступки которых и насилие, употребленное против женщин в пьянстве, принудили лапифов защитить их. Одних умертвили и, победив других, принудили при помощи Тесея оставить свою землю. Геродор повествует все это иначе. Он говорит, что в самом начале войны Тесей поспешил на помощь к лапифам, что тогда только лично узнал он Геракла, что он имел с ним свидание в Трахине* тогда, как этот покоился после своих путешествий и подвигов; что это свидание произошло между ними со взаимными знаками почтения и дружбы. Однако, скорее, можно поверить словам тех, кто утверждает, что они виделись много раз прежде; что Геракл был посвящен в таинства заботами Тесея и его же заботами был очищен от некоторых произвольных преступлений, которыми себя осквернил.

Тесею было пятьдесят лет, как говорит Гелланик, когда он похитил Елену, еще не достигшую брачного возраста. Некоторые, желая скрыть это великое преступление, утверждают, что Елена похищена не им, но Идасом и Линкеем, которые поручили ее Тесею. Он хранил ее и не хотел возвратить братьям ее Диоскурам, которые требовали ее обратно. Уверяют также, что сам Тиндар передал ему дочь, боясь Энарефора, сына Гиппокоонта, пытавшегося похитить Елену еще во младенчестве.

Что всего вероятнее и подкрепляется большим числом свидетельств, есть следующее: Тесей и Пирифой, приехав в Спарту, похитили Елену, когда она плясала в храме Артемиды Орфии*, и бежали. Посланные за ними в погоню преследовали их не далее Тегеи*. Похитители, будучи в безопасности и пересекши свободно Пелопоннес, заключили между собой условие, чтобы Елена была женой того, кому она достанется по жребию, и что этот обязан помочь своему товарищу в похищении себе другой жены. Они бросили жребий, и Елена досталась Тесею, который отвез ее в город Афидны, приставил к ней свою мать и поручил ее другу своему Афидну с приказанием беречь ее и хранить в тайне. Дабы оказать Пирифую взаимную услугу, отправился с ним в Эпир* для похищения дочери Аидонея, царя молоссов, который называл жену Персефой, дочь – Девой*, а пса своего – Кербером. Он заставлял сражаться с ним всех женихов своей дочери, обещаясь выдать ее за победителя. Известившись, что Пирифой с Тесеем прибыли не с тем намерением, чтобы просить дочери в замужество, но чтобы похитить ее, он поймал их. Пирифоя тотчас предал Керберу, а Тесея держал в оковах.

В то самое время Менесфей, сын Петеоя, внук Орнея и правнук Эрехтея, первый из людей, как говорят, начал угождать народу и привлекать его на свою сторону лстивыми словами. Он старался возмутить сильнейших афинян против Тесея, на которого они давно уже негодовали, быв уверены, что он отнял у них всю власть и силу, какую имели в разных племенах, и, заключив их в стенах одного города, сделал подданными и рабами своими. Простолюдинов возбуждал к мятежу, представляя им, что они пользуются лишь мечтательной свободой и что в самом деле лишены своих отчизн и священных обрядов и вместо многих добрых и законных владык должны повиноваться одному – пришельцу и чужеземцу. Между тем как Менесфей это производил, нашествие тиндаридов* на Аттику войной придало великий перевес его намерениям. Некоторые говорят, что сам он призвал тиндаридов вступить в Аттику. Сперва они никого не беспокоили и требовали только сестры своей. Когда же афиняне отвечали, что у них нет ее и что не знают, где она, то тиндариды прибегли к оружию. Академ, узнав неизвестно каким образом, что Елена скрывается в Афиднах, объявил о том ее братьям. По этой причине тиндариды оказали ему при жизни великие почести и впоследствии, когда лакедемоняне вступали многократно в Аттику и разоряли ее, щадили Академию* из уважения к Академу. Дикеарх говорит, что Эхедим и Мараф из Аркадии были союзниками тогда тиндаридов и что от имени первого нынешняя Академия названа Эхедемией; от второго же получило свое название племя Марафонское – за то, что вследствие изречения оракула предал он себя на произвольное заклятие перед войском.

Двинувшись в Афидны и одержав победу, тиндариды завладели этим местом. Тут пал и Галик, сын Скирона, который воевал тогда вместе с тиндаридами. По имени его названо Галиком некоторое место в Мегарской области, на котором он погребен. Герей повествует, что Галик пал близ Афидн от руки самого Тесея – о чем свидетельствуют следующие стихи:

Тесеевой рукой пал мужественный Галик,
На Афиднских полях, сражаясь за Елену.

Впрочем, невероятно, чтобы в присутствии Тесеевом неприятели взяли Афидны и захватили в плен его мать.

Покорение Афидн произвело страх в жителях главного города. Менесфей склонил народ принять дружественно тиндаридов. Он представлял ему, что они ведут войну единственно против Тесея, который оскорбил их первый, но что их почитают благодетелями и защитниками человеков. Поступки их подтвердили слова его. Тиндариды, завладев всем, не захотели ничего другого, как быть посвященными в таинства, поскольку они были связаны родством с городом не менее Геракла. Желание их было исполнено: Афидн усыновил их так, как Пилий усыновил Геракла*. Их удостоили божественных почестей и назвали Анактами – или от заключения перемирия (*anochai*), или от старания их, чтобы граждане не претерпели никакого зла от великого числа бывших в городе воинов, ибо слова «анакос эхейн» означают «сохранение» или «старание». Может быть, по этой самой причине царей называют «анактас». Некоторые говорят, что Диоскуры названы Анактами от явления звезд*, ибо афиняне вместо «ано» («на верху») говорят «анекасс» и вместо «анотен» («сверху») «анекатен».

Говорят, что Этра, мать Тесея, была взята в плен и увезена в Лакедемон, а оттуда в Трою с Еленой, о чем свидетельствует Гомер, говоря о тех, кто за Еленой последовал:

Климена с Эфрою, Питфеевою дочерью*.

Некоторые почитают стих этот подложным, равно как и басню о Мунихе, которого родила тайно Лаодика от Демофонта и который воспитан Этрой в Илионе. Историк Истр* в тридцатой книге «Истории Аттики» рассказывает об Этре нечто, весьма различное от других. Он говорит,

что Александр-Парис побежден Ахиллом и Патроклом в Фессалии, при реке Сперхей, что Гектор взял и ограбил Трезену и увез с собой Этру, которая там была оставлена; но все это нимало не основательно.

Аидоней Молосский угощал у себя Геракла. Он упомянул нечаянно о дерзком покушении Тесея и Пирифоя и о наказании, какое они претерпели, будучи от него пойманы. Геракл с великим прискорбием услышал, что один погиб бесславно, другой страждет в оковах. Он почел бесполезным уже упрекать его в смерти Пирифоя, но просил его освободить Тесея из любви к нему. Аидоней освободил его. Тесей возвратился в Афины тогда, как приверженные к нему не были еще совсем рассеяны. Все уделы земли, подаренные ему прежде городом, он посвятил Гераклу и назвал их Гераклеями; до того времени они назывались Тесеями; себе оставил он только четыре удела, как говорит Филохор.

Он желал по-прежнему начальствовать и управлять гражданами, но всюду встречал лишь мятежи и возмущение. Ненавидевшие его прежде, во время отсутствия его, к ненависти присоединили презрение власти его. Народ, быв развращен, вместо того чтобы в безмолвии исполнять повелеваемое, хотел, чтобы ему льстили и угождали. Тесей предпринял употребить насилие, но противники были сильнее его. Наконец, не имея более надежды управлять по воле своей, выслал детей своих на Эвбею к Элефенору, сыну Халкодонта, и сам, произнеся на афинян проклятие в Гаргетте, на месте, называемом ныне Аратерий, отплыл на Скирос*, надеясь на дружбу, которою был он связан с тамошними жителями и имея на острове родовое имение. На Скиросе царствовал тогда Ликомед. Тесей, прибыв к нему, требовал возвращения принадлежащих ему полей, чтобы тут поселиться. Другие говорят, что он просил у него помощи против афинян. Ликомед, или опасаясь славы сего мужа, или угождая Менесфею, привел Тесея на некоторое возвышенное место, чтобы оттуда показать ему поля его, низверг его с горы и умертвил. Некоторые говорят, что Тесей поскользнулся и сам упал, прохаживаясь после ужина, по своему обыкновению.

В то время на смерть его не обращено никакого внимания. Менесфей царствовал над афинянами, а сыновья Тесея в качестве простых граждан последовали за Элефенором под Трою. После гибели Менесфея они возвратились в Афины и получили царство. Во времена, гораздо более поздние, разные обстоятельства заставили афинян почитать Тесея героем; многие из сражавшихся на марафонском поле мнили видеть призрак Тесея вооруженный и носящийся перед ними против варваров.

После войны с мидянами, при архонте Федоне*, Пифия повелела вопрошавшим ее афинянам взять кости Тесея и хранить их у себя с честью. Трудно было найти гробницу и взять его кости из-за дикого и замкнутого нрава обитавших на Скиросе варваров*. Несмотря на все это, Кимон, как сказано в его жизнеописании, завладев этим островом, искал гроб афинского героя. Он увидел орла, который носом и когтями разрывал некоторое гористое место, и, по божественному внушению, приказал копать. Нашли гроб великорослого человека, стальное острие копья и меч. Все это перевезено было Кимоном в Афины на корабле. Афиняне приняли его торжественно и великолепно и были столь обрадованы, что приносили жертвы, как будто бы сам Тесей возвратился в их город. Кости его положены в середине города, близ нынешнего гимназия. Место это служит убежищем невольникам и всем несчастным, боящимся сильных; Тесей сам в жизни был защитником и помощником угнетенных и принимал благосклонно прощения от людей низкого происхождения. Ему приносят великие жертвы восьмого пианепсиона, в день возвращения его с Крита с юношами. Однако приносят великие жертвы восьмого числа каждого месяца или потому, что он из

Трезены прибыл в город их восьмого гекатомбеона, как пишет Диодор Путешественник, или почитая это число приличнейшим ему, как рожденному, по общему мнению, от Посейдона, которому приносят жертвы в восьмой день каждого месяца. Восьмерка – это куб первого из четных чисел и удвоенный первый квадрат; по этой причине достойным образом знаменует

твердость и непоколебимость, свойственные могуществу бога, которого называем мы Неколебимым и Земледержцем.

Ромул

Величественное имя Рима, разнесенное славой по всем народам, от кого и почему дано было городу, в том писатели между собой не согласны. Одни утверждают, что пеласги, странствуя по разным странам света и покорив многие народы, поселились в этом месте и назвали город этим именем в ознаменование силы своего оружия*. Другие думают, что после взятия Трои некоторые убежавшие троянцы* нашли по случаю суда, на которых пустились в море; ветрами брошены были к берегам Тиррении* и пристали к реке Тибр. Бывшие с ними женщины странствованием уже наскучили и не могли долее переносить опасностей моря. Одна из них, по имени Рома, родом и умом других превосходившая, решилась сжечь суда. Она исполнила свое намерение; мужчины сперва досадовали; но наконец, по нужде, поселились вокруг горы Паллантий*. В короткое время благоденствие их превзошло всю надежду, ибо земля их была плодородна и природные жители приняли их благосклонно. Они оказывали РOME великие почести и город свой называли именем ее, как главной причины их поселения. С того времени остался у римлянок обычай целовать в уста своих родственников и мужей*, ибо по сожжении кораблей женщины целовали и ласкали мужей своих, стараясь укротить их гнев.

Одни говорят, что город получил свое имя от Ромы, дочери Левкарии и Итала (или Телефа, сына Геракла); которая была женой Энея (или Аскания, сына Энея). Другие пишут, что город основан Романом, сыном Одиссея и Кирки, или Ромом, сыном Эматииона, посланным из Трои от Диомеда; по мнению же других – Ромисом, царем латинским, который выгнал тирренцев, переселившихся из Фессалии в Лидию, а из Лидии в Италию.

Те, кто Ромулу по справедливости приписывает название города, не согласуются в его происхождении. Одни утверждают, что он был сын Энея и Дексифеи и что привезен в Италию вместе со своим братом Ремом; что при разлиии Тибра потонули все другие суда; лишь то, в котором находились дети, было тихо занесено на ровный берег; это место, на котором сверх ожидания спаслись они, названо Римом. Другие рассказывают, что Рома, дочь троянки Дексифеи, вышла замуж за Латина, сына Телемаха, и родила Ромула. Иные – что Эмилия, дочь Энея и Лавинии, родила его от Ареса. Некоторые рассказывают рождение их весьма баснословно. Они говорят, что Тархетий, царь альбанов, человек незаконный и весьма жестокий, увидел в своем доме явление, будто бы из середины очага его поднялся фаллос и не исчезал многие дни; что в Тиррении было тогда прорицание Тefий, которое повелело Тархетию соединить с сим призраком деву, ибо от нее родится сын знаменитейший, который доблестью, счастьем и телесной красотой превзойдет всех. Тархетий объявил прорицание одной из дочерей своих и повелел его исполнить. Она не послушалась и вместо себя послала одну из своих служанок. Тархетий, узнав об этом, был разражен до того, что хотел их обеих предать смерти. Но Веста явилась ему во сне и воспретила умертвить их. Тархетий сковал их и заставил ткать полотно, обещав по окончании работы выдать их замуж. Они ткали целые дни, а рабыни, по приказанию Тархетия, ночью распускали их работу. Служанка родила близнецов. Тархетий отдал их умертвить Тархетию, который положил их на берег реки. Волчица приходила кормить их своими сосцами, и разные птицы приносили пищу и клали им в рот. Один пастух, увидя это чудо и изумившись, решился подойти и взять их. Так дети были спасены. Возмужав, они напали на Тархетия и победили его. Все это описано некоторым Проматиионом в своей «Истории Италии».

Самая достоверная и большим числом писателей подтверждаемая версия в главных ее чертах издана у греков Диоклом с Пепарефоса, которому во многом следовал Фабий Пиктор*. Хотя между ними имеется некоторое разногласие, но общее содержание их рассказов сводится к следующему.

Наследие царей альбских, происходивших от Энея, дошло до двух братьев, Нумитора и Амулия*. Амулий разделил отцовское наследство на две части и дал Нумитору на выбор: царство или деньги и золото, привезенные некогда из Трои. Нумитор предпочел царство. Амулий, имея деньги и будучи сильнее своего брата, вскоре лишил его престола. Боясь, чтобы дочь Нумитора не родила детей, он сделал ее жрицею Весты, дабы она провела весь свой век в безбрачном и девственном состоянии. Одни называют ее Илией, другие Реей или Сильвией. Вскоре оказалось, что она была беременна – против постановлений весталок. Анто, дочь царя Амулия, упростила отца не предавать ее казни; однако она была заключена в темницу и вела жизнь в совершенном уединении, дабы не могла родить тайно от Амулия.

Она родила двух сыновей чрезвычайного роста и редкой красоты. Амулий, еще более сим утраченный, повелел слуге взять и бросить их. Слугу некоторые называют Фаустилом; другие говорят, что это имя человека, спасшего мальчиков. Следуя повелению Амулия, слуга положил детей в корыто и пошел бросить их в реку; но, увидев, что она высоко поднялась и волновалась весьма быстро, не отважился близко подойти; положил корыто на берег и удалился. Река, прибывая и разливаясь, подняла его и спокойно принесла на ровное место, которое ныне называется Кермал, в древности же Герман, ибо родные братья по-латыни называются германами*.

Близ того места стояла дикая смоковница, которую называли Руминальской, как многие думают – от Ромула, или оттого, что под тенью ее покоились стада во время жары, жуя корм, или, справедливее, потому, что дети были под нею вскормлены. Древние латиняне румами называли сосцы. И поныне называют Руминой* некоторую богиню, пекущуюся, по их мнению, о вскармлении детей. Ей приносят жертвы без вина и изливают перед нею молоко. На этом месте и лежали дети. Волчица, как говорят, приходила их кормить своими сосцами, а дятел приносил им корм и стерег их. Эти животные посвящены Марсу; дятел у латинян в великом уважении. Это обстоятельство немало способствовало к утверждению слов матери их, которая уверяла, что Марс отец ее детям. Однако некоторые говорят, что Сильвия сама была обманута Амулием, который явился ей вооруженным, похитил ее и лишил девства. Другие утверждают, что имя кормилицы их по причине его двусмысленности подало повод к сему вымыслу. Ибо латиняне называют «лупами» волчиц и блудниц – какова была жена Фаустула, которая вскормила детей и которой настоящее имя было Акка Ларентия. Римляне приносят ей жертвы; жрец Марса в апреле месяце делает в ее честь надгробные излияния. Этот праздник называется Ларентами*.

Римляне почитают еще одну Ларентию, по следующей причине: служитель храма Геракла, не зная, чем себя развлечь, предложил богу от скуки играть с ним в кости с тем условием, что если выиграет, то получит от Геракла что-нибудь хорошее; а если проиграет, то поставит ему хороший ужин и приведет прекрасную женщину. По заключении этого условия бросил он кости за Геракла, потом за себя – Геракл выиграл. Служитель, желая исполнить свое обещание, изготовил ему ужин, нанял Ларентию, которая была прекрасна, но еще мало известна, угостил ее в самом храме, уготовил ложе и после ужина запер ее там. Говорят, будто Геракл в самом деле приходил к ней и повелел ей утром выйти на площадь, поцеловать первого, которого она встретит, и сделать его своим другом. Тот, кто встретился с нею первый, был человек очень старый и довольно богатый, прошедший всю жизнь свою бездетным и безбрачным, по имени Тарутий. Он принял к себе Ларентию, полюбил ее и, умирая, отказал ей свое имение, которого большую часть она подарила народу по своему завещанию. Она была уже знаменита и почиталась любимицей богов, когда исчезла на том самом месте, на котором погребена первая Ларентия. Место это называется Велабр* потому, что во время разлития реки переправлялись через оную на лодках, если надлежало идти на площадь. Переправу такого рода римляне называют «велатурой». Другие уверяют, что, начиная с этого места, дорога от площади до цирка

была устилаема парусами. Римляне называют парус «велоном». Вот причина почтения римлян ко второй Ларентии!

Фаустул, пастух Амулия, тайно подобрал детей. Некоторые с большей достоверностью думают, что сделал он то с ведома Нумитора, который скрытно помогал ему растить младенцев. Уверяют также, что эти дети были посланы в Габии* и там учились грамоте и всему тому, что прилично знать благородным людям. Имена Ромула и Рема даны им потому, что нашли их сосущими волчицу.

С самого младенчества величавость и красота тел их обнаруживали природные их свойства. Мужество и пылкость их возрастали с годами. Они были неустрашимы во всех видимых опасностях; смелость их была непоколебима. Ромул более своего брата отличался умом и более оказывал политического благоразумия. В собраниях соседей по делам, до пастьбы скота и охоты касающимся, заставлял он всех думать о себе, что более способен начальствовать, нежели повиноваться. Оба они были к единоплеменным своим и к людям низшего состояния благосклонны; но содержателей царских стад и других смотрителей, как людей, не превосходивших их нимало храбростью, они презирали, несмотря ни на гнев их, ни на угрозы. Занятия их и образ жизни были благородны; похвальным почитали они не праздность или бездействие, но телесные упражнения, охоту, беганье, истребление разбойников, преследование воров, защиту угнетаемых от сильных. Сами поступками прославились они среди окрестных жителей.

Некогда произошла ссора между пастухами Нумитора и Амулия. Пастухи первого отогнали у других стада. Ромул и Рем, не стерпев этого, напали на них, обратили в бегство и отняли большую часть добычи. Нумитор на это негодовал. Они, пренебрегая гневом его, начали собиравать и принимать к себе всех неимущих, всех беглых рабов, исполняя их дерзостью и склонностью к возмущению.

Однажды, когда Ромул был занят жертвоприношением – и был искусен в гадании, – пастухи Нумитора, напав на Рема, который был сопровождал немногими, вступили с ним в сражение. С обеих сторон наносимы были удары, и некоторые были ранены. Пастухи Нумитора одержали верх и поймали Рема живым. Они привели его к Нумитору и приносили на него жалобы, Нумитор не наказал его, боясь жестокости своего брата; он пошел к царю и просил у него, как у брата, правосудия в обидах, наносимых от служителей его. Жители Альбы жалели о претерпеваемой им обиде, столь неприличной его достоинству. Амулий, тронутый его жалобами, предал Рема во власть его. Он взял его и привел к себе. Наружность юноши, который от других отличался ростом и крепостью, лицо его, на котором изображались смелость и твердость души, непокорной и неустрашимой среди бедствий, привели его в удивление. Повествуемые о нем дела были согласны с тем, что видел он своими глазами; более всего – может быть, по внушению бога, управляющего началами великих событий, – своим рассудком или случайно постигнув истину, начал его расспрашивать, кто он таков и от кого родился, тихим голосом и кротким взором ободряя и обнадеживая его. Рем смело отвечал: «Я ничего от тебя не скрою, ибо вижу, что ты более Амулия царствовать достоин. Ты расспрашиваешь и слушаешь прежде, нежели казнишь, он без суда выдает обвиняемых. Я и брат мой, мы близнецы; прежде почитали себя сынами царских служителей Фаустула и Ларентии. С тех пор как обвинены, оклеветаны перед тобой, находясь в крайней опасности, мы много важного о себе слышим; справедливо ли то или нет, нынешняя опасность докажет. Рождение наше, говорят, таинственно; во младенчестве вскармливание и воспитание чудесны – птицы и звери, которым преданы мы были на съедение, вскормили нас. Волчица питала нас своими сосцами, дятел приносил нам корм, когда лежали мы в корыте близ большой реки. Корыто это и поныне хранится с медными полосами, на которых изображены неясные слова – бесполезные знаки для наших родителей, если мы теперь погибнем!» По этим словам и по виду его Нумитор, судя о времени, не отверг

льстящей ему надежды; но искал только случая поговорить наедине с дочерью, которая была в крепком заключении.

Фаустул, узнав, что Рем пойман и предан Нумитору, увещевал Ромула спешить к нему на помощь и тогда только в первый раз объявил ему истинное его рождение. Прежде говорил об этом загадками, открывая Ромулу и Рему столько, сколько нужно было для внушения им высоких о себе мыслей. Он взял корыто и поспешил к Нумитору, исполненный страха по причине опасности, в которой Рем находился. Царские стражи, при вратах Альбы стоявшие, возымели к нему подозрение; он смутился от вопросов их и не мог скрыть корыто, которое нес под епанчей. Случилось, что среди стражей был один из тех, кому препоручено было бросить детей. Увидя это корыто и узнав его по надписи и по виду, догадался он о происходящем. Без замедления объявил о том государю и представил к допросу Фаустула. Среди многих и великих мук Фаустул не сохранил себя совершенно непоколебимым; однако принуждение не исторгло от него во всем признания. Он объявил, что дети спасены и что пасут стада далеко от Альбы; что он нес это корыто к Илии, которая много раз желала видеть его и коснуться его руками своими, дабы удостовериться в жизни детей своих. С Амулием случилось тогда то, что бывает с людьми встревоженными, которые действуют по страху или гневу. Он послал к Нумитору добродетельного человека и ему друга, дабы от него узнать: дошел ли до него слух, что сыновья дочери его живы? Человек этот, придя к Нумитору и застав его обнимающим Рема и оказывающим ему ласки, утвердил еще более его надежду и советовал ему спешить к приведению в действие своих намерений. Он остался с ними и содействовал им в их предприятии.

Обстоятельства не позволяли им медлить, когда бы они того хотели. Ромул был уже близко. К нему выбегали многие из граждан, которые ненавидели Амулия и страшились его. Ромул вел с собой силу, разделенную на сотни. Каждой сотней предводительствовал один начальник, который носил на шесте пук сена. Латиняне называют таковой пук «маниплом» (*maniplus*). С того времени и донныне в войске «маниплариями» именуются воины одной роты. Между тем как Рем в городе побуждал граждан восстать против Амулия, а Ромул нападал на оный со всею силой, тиранн в недоумении и страхе, ничего не сделав и ни на что не решась, был пойман и умертвлен. Это происшествие, описанное Фабием и Диоклом с Пепарефоса (который первый, кажется, издал книгу о построении Рима), многими почитается сомнительным и выдуманным потому только, что оно странно; однако не должно совсем отвергать его, видя, какие удивительные дела производит счастье, и рассуждая, что Рим не достиг бы такого величия, когда бы не получил некоторого божественного начала, великого и чудесного.

По смерти Амулия, когда все успокоилось в Альбе, Ромул и Рем не захотели ни жить в этом городе не управляя, ни управлять при жизни своего деда. Они отдали всю власть ему, оказали матери должное уважение, решились поселиться особливо и построить город в тех местах, в которых они были воспитаны. Вот благовиднейшая причина, заставившая их удалиться из Альбы. Но, может быть, это было необходимо – такое множество рабов и мятежников; им надлежало или распустить их и через то лишиться всей власти своей, или поселиться вместе с ними на новом месте. Что жители Альбы не хотели принять к себе этих мятежников и признать своими гражданами, доказывается, во-первых, похищением сабинянок, произведенным не для поругания, но по нужде, за неимением жен, ибо, похитив их, римляне оказывали им отличное уважение. Во-вторых, основав город свой, они воздвигли храм, служивший убежищем всем беглым, который назван храмом бога Асила*. Они принимали к себе всех, не возвращая ни господину раба, ни должника заимодавцу, ни правителям убийцу, но утверждая, будто повелением Дельфийского прорицалища основали для всех таковое убежище; и так в короткое время город их наполнился жителями. С самого же начала число домов не простиралось далее тысячи – о чем сказано будет после.

Когда они решились построить город, то между ними произошла распря о выборе места. Ромул построил так называемый Четвероугольный Рим (*Roma quadrata*) и хотел тут посе-

литься. Рем выбрал крепкое место на горе Авентине, которое и названо Реморией, ныне же называется Ригнарием*. Они условились между собой решить спор по полету птиц и для того сели порознь на открытом воздухе. Рем увидел шесть коршунов; Ромул прежде его двенадцать. Другие говорят, что Рем видел их в самом деле; что Ромул употребил ложь и что видел их только тогда, как Рем пришел к нему. Как бы то ни было, от сего происходит, что римляне и поныне в своих гаданиях наблюдают полет коршунов. Геродор Понтийский повествует, что Геракл был весьма доволен, когда при некотором предприятии явился ему коршун. Эта птица есть самая безвредная; она не портит ничего того, что люди сеют или сажают, а питается мертвыми телами; не убивает и не губит ничего живого; мертвых птиц вовсе не касается по причине сродства с ними. Напротив того, орлы, совы и ястребы терзают и умерщвляют даже тех, которые одного с ними рода. В самом деле, как говорит Эсхил:

Чиста ли птица та, что птицу пожирает?

Другие птицы всегда попадаютсся нам пред глаза; но коршун есть птица редко видимая, а птенцов его нелегко найти можно. Редкое явление коршуна заставило некоторых думать, хотя и несправедливо, что они прилетают к нам из других земель. Гадатели также почитают все то, что не обыкновенно и не само собой происходит, за знамение, ниспосылаемое богами.

Рем негодовал, узнав обман своего брата, и, видя его копающего ров, которым хотел окружить стены, частью насмеялся над его работой и частью препятствовал ей. Наконец он перескочил через ров и был убит на месте*, по мнению одних, самим Ромулом, а по мнению других, одним из Ромуловых людей, который назывался Целером. В этой драке пали Фаустул и брат его Плистин, способствовавший ему в воспитании Ромула и Рема. Целер убежал в Тиррению. С тех пор по имени его римляне быстрых и легких на ногах называют «келерами». Народ прозвал келером Квинта Метелла, удивляясь скорости, с какой приготовил он позорище гладиаторов по смерти отца своего.

Ромул похоронил на Ремории Рема вместе с воспитавшими его и начал строить город. Он вызвал из Тиррении нескольких мужей, которые научили его все производить с некоторыми обрядами, правилами и писаниями, как бы то было некое священнодействие. Около так называемого ныне Комития выкопали круглый ров и в оный клали начатки всего того, что в употреблении считается позволительным, а по природе необходимым. Наконец, каждый всыпал в оный горсть той земли, с которой пришел, и смешали все вместе*. Ров назвали тем же именем, каким называют и мир, то есть «мундус». Потом около этого как бы средоточия начертили окружность города. Основатель, приставив медный сошник к плугу и впрягши в оный быка и корову*, проводит глубокую бразду по начертанной окружности. Идущие за ним должны складывать земляные глыбы, поднятые плугом, на стороне города, не оставляя ни одной, обращенной в противоположную сторону*. Эта борозда означает окружность стены города и называется – вместо «постмерий» – померием, то есть «за стеной». В том месте, где хотели поставить ворота, снимали сошник и, подняв плуг, оставляли некоторый промежуток. По этой причине вся стена, кроме врат, почитается священной; если бы и врата почитались священными, то было бы непозволительным привозить в город и вывозить из него вещи как необходимые, так и нечистые.

Основание Рима, по свидетельству многих, случилось в одиннадцатый день до майских календ*. Римляне празднуют этот день, называя его днем рождения отечества. Говорят, что в самом начале не приносили в жертву ничего одушевленного, ибо думали, что день, в который торжествовали рождение отечества, надлежало хранить чистым, без пролития крови. Еще до построения их города, в этот же самый день отправляли они пастушеский праздник, который называли Парилии*. Ныне начало римских месяцев нимало не соответствует греческому; однако уверяют, что день, в который Ромул основал город, был по греческому счислению трид-

цатый, и в этот день было солнечное затмение, замеченное, как говорят, Антимахом Теосским, стихотворцем, в третий год шестой олимпиады*. Во время философа Варрона, мужа среди римлян весьма сведущего в истории, жил Тарутий*, приятель его, философ и великий математик, который занимался притом для своего удовольствия гаданием по течению звезд и в том почитался весьма искусным. Варрон предложил ему некогда найти день и час рождения Ромула и сделать о них заключение по известным случаям его жизни, как решать геометрические задачи; ибо, говорил он, есть одно и то же – по данному времени рождения человека предсказать жизнь его или по данной жизни узнать время его рождения. Тарутий то исполнил и, рассмотрев деяния Ромула и выпавшие на его долю бедствия, продолжение его жизни и род смерти, все это сообразив, решительно и смело заключил, что Ромул зачат в первом году второй олимпиады, в двадцать третий день египетского месяца хеака (декабря), в третьем часу, когда солнце совершенно затмилось; что родился двадцать первого числа месяца тоита (сентября) на восходе солнца; что Рим основан им девятого числа месяца фармути (апреля), между вторым и третьим часом. Эти гадатели уверяют, что судьба города (равно как и человека) имеет свое определенное время, которое узнается созерцанием положения звезд в минуту основания его. Таковые и сим подобные дела более нравятся читателю своею странностью и новостью, нежели приносят неудовольствие по своей невероятности.

По основании города Ромул разделил всех способных носить оружие людей на военные сонмища. Каждое из них состояло из трех тысяч пеших и трехсот конных и называлось легионом, ибо набирали в него самых воинственных*. Остальные составляли гражданское общество. Весь народ назвал он «популус» (*populus*). Он избрал сто советников, самых отличных людей, и почтил их именем «патрициев» (*patricii*); собрание их назвал «сенатом» (*senatus*), что значит «совет старейшин». Советники названы патрициями* потому, что они имели родных детей; или, вероятнее, потому, что они могли показать отцов (*patres*) своих, чего не многие из этих стекшихся пришельцев могли тогда сделать. Некоторые полагают, что это название происходит от слова «патроний», что и теперь означает покровительство или защиту, уверяя, что некто, по имени Патрон, из числа последовавших за Эвандром, по причине попечительности своей и помощи, оказываемой нуждавшимся, дал свое имя самому действию. Вероятнее всего, что Ромул дал им это название для того, дабы первейшие и сильнейшие в народе пеклись о бедных с отеческим старанием и заботливостью, научая в то самое время простолюдинов не страшиться знатных и не огорчаться оказываемыми им почестями, но любить их, почитать и называть отцами. Поныне иностранцы называют сенаторов государями, сами же римляне называют их отцами – именем, по своей важности и достоинстве величайшим и вкуче никакой зависти не возбуждающим. Сперва называли их просто отцами. Впоследствии, когда число сенаторов было приумножено, стали называть их «отцами, внесенными в списки» (*patres conscripti*)*. Это было самое почтенное имя, которым отличил он сенаторов от народа.

Кроме того, Ромул разделил высших от низших другими именами; одних назвал «патронами», то есть покровителями; других «клиентами», или покровительствуемыми*. Этим он произвел между ними удивительную связь, из которой проистекали взаимные их обязанности. Патроны объясняли своим клиентам законы, ходатайствовали за них в судах, давали им советы и защищали их; клиенты, со своей стороны, уважали своих патронов; не только оказывали им почтение, но еще выдавали дочерей их замуж, когда они были бедны, и платили их долги*. Никакой закон, никакой судья не принуждали клиента свидетельствовать против своего патрона, ни патрона против своего клиента*. Впоследствии, хотя все взаимные обязанности оставались в силе, однако получать деньги знатным от людей низшего состояния сочтено неблагородным и подлым.

В четвертом месяце по создании Рима (как говорит Фабий) римляне дерзнули на похищение сабинянок. Некоторые уверяют, что Ромул, как человек к войне от природы склонный и убежденный некоторыми прорицаниями, что Риму предназначено судьбой соделаться вели-

ким, содержаться и возрастать посредством браней, этой обидой подал повод к войне. По этой причине, уверяют они, похитил он только тридцать дев, как будто бы он более имел нужды в войне, нежели в женщинах. Однако это невероятно. Город его наполнился вскоре жителями, из которых не многие имели жен; большая же часть их, как сборище бедных и неизвестных людей, были презираемы. Ромул не мог надеяться, чтобы они остались навсегда в этом новом состоянии. Думая при том, что этот обидный поступок подаст некоторым образом начало к соединению и сообщению между сабинянами и римлянами, если бы удалось им укротить женщин, приступил он к делу следующим образом: сперва разгласил, будто нашел под землею жертвенник некоего бога, которого называли Консом. Неизвестно, бог ли это Совета – латиняне «совет» называют «консилий» (*consilium*), а первых чиновников республики «консулами», то есть «советниками», – или Посейдон-Конник, ибо этот жертвенник стоит в Большом цирке и видим только во время ристаний. Некоторые думают, что, поскольку намерение было тайно и от всех сокрыто, то прилично было, чтобы и жертвенник этот был сокрыт под землею. Едва он показался, как Ромул возвестил повсюду о великолепных жертвоприношениях с играми и позорищами, которые совершить намеревался.

На это обнародование стеклось великое множество народа. Ромул, в багряной одежде, сидел на первом месте, окруженный знаменитейшими гражданами. Знаком к нападению было то, чтобы ему встать, раскрыть одежду свою и вновь накинуть на себя. Многие из его граждан, вооруженные мечами, смотрели на него пристально. При данном знаке обнажили они мечи, устремились с криком, похищали сабинских дочерей, но самим сабинянам позволяли свободно предаваться бегству. Некоторые говорят, что похищено было только тридцать, по имени которых названы были римские курии.

Но Валерий Антиат полагает их пятьсот двадцать семь, и Юба* – шестьсот восемьдесят три. Все они были девы – и это самое служит к оправданию Ромула. Из замужних женщин похищена только одна, по имени Герсилия, и то по ошибке, ибо римляне не для того похищали дев, чтобы оскорбить и обесчестить их, но единственно по желанию свести два народа и соединить их теснейшими узами. Эта Герсилия вышла замуж, по мнению одних, за Гостилия, знаменитейшего римлянина; по мнению же других, за самого Ромула, который имел от нее двоих детей, дочь, названную Примой, по первородству, и сына, прозванного Аоллием*, по причине собранных отовсюду граждан; но который после переименован в Авиллия. Все это, повествуемое Зинодотом Трезенским, многими опровергается.

Случилось, что среди похитителей были какие-то граждане низкого состояния, которые увели одну девицу, красотой и ростом от всех других отличавшуюся. Их встретили некоторые знатнейшие граждане и хотели отнять ее; похитители кричали, что ведут ее к Таласию, молодому человеку, доброму и всеми уважаемому. Услышав его имя, в знак одобрения они плескали руками, желали ему счастья, а некоторые и последовали за ведущими ее из любви и уважения к Таласию, произнося с восклицаниями его имя. С того времени римляне в бракосочетаниях воспевают Таласия, как греки Гименея, ибо говорят, что Таласий был весьма счастлив со своей женой. Однако Секстий Сулла из Карфагена, муж, равно любимый Музами и Харитами, уверял меня, что это имя «Таласий» дано было Ромулом в знак похищения. Все, уносящие дев, кричали: «Таласий!» Отчего и поныне остался в свадьбах этот обычай. Большая часть писателей, между прочими и Юба, думают, что это слово есть увещание и поощрение к трудолюбию и к пряже льна (*talasia*). Тогда еще итальянские слова не вмешивались в греческий язык. Если то правда, что римляне тогда принимали слово «таласия» в том значении, в каком мы его принимаем, то можно найти другую достовернейшую причину этому обычаю. Когда сабиняне после войны заключили мир с римлянами, сделано было о женщинах следующее постановление: чтобы они не оказывали мужьям своим другой услуги, кроме той, чтобы для них прясть. От этого и в последующее время в бракосочетаниях выдающие дочерей, сопровождающие их или только присутствующие, кричат в шутку: «Таласий!», как бы напоминая

тем, что пряжа есть единственная услуга, для которой новобрачная ведется в дом. И поныне хранится еще обычай, что невеста не перешагивает через порог, дабы войти в дом своего мужа; но вносят ее на руках, ибо и в то время введены они были насильственно, а не вошли сами в дома мужей своих. Некоторые говорят, что волосы новобрачной отделяются острием копья в знак того, что первый брак совершен был со сражением и воинственно. Об этом пространнее описано нами в книге «О причинах римских обычаев».

Похищение это произошло восемнадцатого числа месяца, называвшегося тогда секстилем, ныне же августом, и в которое отправляется праздник Консуалий*.

Сабиняне были народом многочисленным и воинственным. Они жили в селениях, которые не были обнесены стенами; как поселенцы лакедемонские, гордились своим происхождением и никого не страшились. Но тогда, быв связаны драгоценнейшим залогом и боясь за дочерей своих, они отправили в Рим послов с самыми кроткими и умеренными предложениями. Они требовали от Ромула, чтобы он возвратил дочерей их; чтобы отказался от насильственного поступка и чтобы потом два народа соединились дружбой и родством по взаимному согласию и законными средствами. Ромул отвечал, что не возвращает им дочерей, но просит их утвердить родство и мириться с ним. После такого ответа сабиняне проводили время в советованиях и приготовлениях. Но Акрон, царь ценинский, человек стремительный и искусный в войне, которому и прежде были подозрительны смелые предприятия Ромула, думая, что после этого похищения будет он для всех ужасен и несносен, если оставят его без наказания, первый пошел против римлян войной с многочисленной силой. Ромул выступил против него. Находясь на таком между собой расстоянии, что могли видеть друг друга, они вызвали один другого на бой, между тем как их войска с оружием в руках оставались в бездействии. Ромул дал обет – посвятить Юпитеру доспехи своего противника, если победит его. Он убил его; одержав над ним победу, дал сражение войску, разбил его и взял город; остававшимся в нем гражданам не сделал он никакой обиды, но приказал им скрыть свои дома и последовать за ним в Рим, обещав дать им равные права с гражданами. Ничто столь не способствовало росту Рима, как присоединение и присовокупление к нему побежденных.

Ромул, рассуждая в стане своем, каким бы образом соделать приношение обета своего угоднейшим Юпитеру, а гражданам зрелище торжества приятнейшим, срубил огромный дуб, дал ему вид трофея и повесил на нем все оружие и доспехи Акроновы, разделив их приятнейшим образом; потом надел порфиру и, нося на распущенных власах своих лавровый венок, поднял на правое плечо этот трофей и держал его прямо. Воспевая победную песнь, шел он впереди войска своего, которое следовало за ним с оружием, между тем как граждане встречали и принимали его с удивлением и радостью. Это торжественное шествие послужило началом и примером к введенным впоследствии триумфам, а трофей назван приношением Юпитеру-Феретрию. По-латыни «ферире» (*ferire*) значит «поражать». Ромул молил Юпитера поразить и умертвить своего противника. Снятые с неприятеля доспехи называются по-латыни, как говорит Варрон, «опимиа» (*opimia*); «богатство» обозначается словом «опес» (*opes*). Вероятнее же – можно было бы связать «опимиа» с «опус» (*opus*), что значит действие, подвиг; посвящение же богу «опимиа» позволяет лишь полководцу*, своей рукой умертвившему предводителя неприятельского. Этой чести удостоились только три римских полководца. Во-первых, Ромул, убивший Акрона, царя ценинского; во-вторых, Корнелий Косс, умертвивший Толумния, тосканского полководца, и наконец, Клавдий Марцелл, поразивший галльского царя Бритомарта. Но Косс и Марцелл въехали в Рим на колеснице, четырьмя конями запряженной, и неся свой трофей. Дионисий говорит, что и Ромул въехал в Рим на колеснице; однако это не справедливо, ибо Тарквиний, сын Демарата, первый из царей придал триумфу такую важность и великолепие. Другие говорят, что Попликола первый имел триумфальный въезд на колеснице. В Риме все Ромуловы истуканы, несущие трофей, представляют его пешим.

По покорении Ценины, между тем как другие сабиняне проводили время в приготовлениях, жители Фиден, Крустумерия и Антемны заключили между собой союз против римлян. Дано было сражение. Они также были побеждены, предали города свои Ромулу, который разделил их землю и переселил их в Рим. При разделении земли между согражданами он не тронул лишь те поля, которыми владели отцы похищенных девушек.

Другие сабиняне, раздраженные этим, избрали своим полководцем Татия и пошли на Рим. Приступ к сему городу был весьма труден. Нынешний Капитолий служил ему крепостью, в которой было охранное войско под начальством Тарпея, а не девицы Тарпеи, как утверждают некоторые, представляя Ромула столь безрассудным. Тарпея была дочь начальствующего над крепостью; она предала ее сабинянам изменой, прельстясь золотыми нарукавниками их. В награду за предательство требовала она тех, кого сабиняне носили на левых руках своих; Татий на то согласился. Тарпея ночью отворила одни ворота ипустила сабинян. По-видимому, не один Антигон* сказал, что любит изменяющих, но ненавидит изменивших, и не один Цезарь, который о фракийце Риметалке говорил: «Я люблю измену, но ненавижу изменника». Кажется, что все имеющие нужду в злодеях, питают к ним те же самые чувства. Они пользуются ими точно так, как желчью или ядом некоторых зверей. Любят их, когда имеют в них нужду; достигнув цели своей, они ненавидят их. Одушевленный подобным чувством к Тарпее, Татий велел сабинянам исполнить данное обещание и не жалеть украшений, бывших у них на левой руке. Он первый снял с руки своей нарукавник, бросил его на Тарпею, а за ним и щит свой. Все последовали его примеру; она была завалена золотом и щитами, под бременем которых погибла*. Юба говорит, что, по словам Сульпиция Гальбы*, Тарпей также был изобличен в предательстве и Ромулом изгнан. Повествуемое некоторыми, между прочими и Антигоном*, будто Тарпея, дочь Татия, полководца сабинского, была женой Ромула против своей воли и что отец с ней так жестоко поступил, весьма невероятно. Стихотворец Симил обманывается, когда утверждает, что Тарпея предала Капитолий не сабинянам, но галлам, влюбившись в царя их. Он говорит:

Близ Капитолийской высокой скалы
Тарпея жила, губительница Рима.
К кельтийскому царю любовью горя,
Отеческих домов она не сохранила.
О ее смерти говорит он:
Но галлов, боев полки несчетны, храбры,
На Падовых берегах ее не погребли.
Власов своих у ней не стригли на могиле.
Руками мощными тяжелые щиты
На ненавистную сию бросали деу
И памятник из них воздвигнули на ней.

Тарпея тут погребена, и холм этот назывался Тарпейским до тех пор, как Тарквиний посвятил Юпитеру это место. Прах ее был перенесен оттуда, после чего имя ее было забыто. Но и поныне на Капитолии называется Тарпейской та скала, с которой бросали преступников.

Сабиняне владели уже Капитолием. Ромул в ярости вызывал их к битве. Татий принял ее смело, ведая, что в случае неудачи имел крепкое к отступлению место. Пространство, на котором надлежало им сразиться, было окружено многими холмами. По неудобности положения казалось, что для обеих сторон битва долженствовала быть жестока и опасна, ибо теснота места не позволяла ни отступать, ни преследовать далеко неприятеля. Случилось, что за несколько дней прежде река разлилась и оставила по себе на низких местах, где ныне площадь, глубокий, но неприметный ил, которого видеть и избежать было невозможно. Сабиняне по неведению неслись к сему месту. К счастью их, некто по имени Курций, человек знаменитый, отличный

славою и храбростью своей, сидя на коне, ехал далеко впереди всех. Он был завезен в эту топь, в которой увяз конь его; несколько времени бил он его и понуждал оттуда выйти; но так как это было невозможно, то сошел с него и спасся один. Это место и поныне называется «Курциево болото» (*Lacus Curtius*).

Этот случай заставил сабинян избегать того места. Они сражались отчаянно; победа была сомнительна. Многие пали на месте; меж прочими и Гостилий, которого почитают мужем Георсии и дедом Гостилия, воцарившегося после Нумы. Битвы продолжались несколько дней сряду. Достопамятнее всех последняя, в которой Ромул был ранен в голову и едва не упал. Он не мог долее противостоять сабинянам; римляне принуждены были им уступить. Они бежали к горе Палатинской, быв прогнаны с равнин. Ромул наконец, пришед в себя, хотел идти с оружием в руках навстречу бегущим. Громко кричал им, чтобы остановились и возвратились к сражению. Но видя, что все было в великом расстройстве и никто не смел противостоять неприятелю, воздев руки к небу, просил Юпитера удержать войско от бегства, восстановить силы римлян и отвратить от них погибель. Едва он окончил мольбу свою, как многие устыдились царя своего; бегущие вдруг ободрились, сперва остановились они на том месте, где ныне храм Юпитера Статора, что значит «Останавливающий»; потом стали в строй, отразили сабинян и прогнали до того места, где ныне дворец Регии* и храм Весты.

Здесь готовились они к возобновлению сражения с прежнею яростью, как вдруг зрелище необыкновенное, которого никакими чертами изобразить неможно, остановило их. Похищенные дочери сабинян, сбегаясь отовсюду с криком и воплем, сквозь оружия и по телам мертвым, как бы одушевленные божеством, стремились к мужьям и к отцам своим. Одни с малыми детьми в своих объятиях, другие с растрепанными волосами называли то сабинян, то римлян нежнейшими именами; и те и другие смягчились и дали им место среди самого ополчения. Рыдания их всем были слышны; все тронуты были жалостью от сего зрелища, а еще более от их слов, которые начинались сильными и справедливыми жалобами и кончились самыми убедительными просьбами и молением. «Чем оскорбили мы вас, чем виновны мы перед вами, – говорили они, – за что мы от вас претерпели жесточайшие горести и ныне претерпеваем? Мы похищены насильственно и незаконно теми, кому ныне принадлежим. По похищении нашем, оставленные, забытые отцами, братьями, родственниками, на долгое время мы принуждены были неразрывными узами соединиться с теми, кто для нас был всего ненавистнее; мы доведены до того, что должны страшиться за оскорбивших нас, за похитителей наших, когда они сражаются, и оплакивать их, когда они погибают. Не тогда пришли вы избавить нас и за нас отмстить, когда были мы еще в девстве; ныне у мужей вы отнимаете жен, сынов лишаете матерей. Помощь, ныне вами оказываемая несчастным, горше забвения и предательства вашего. Такова любовь их к нам! Такова жалось к нам ваша! Когда бы за что-либо другое вы между собой сражались, то не надлежало бы вам, сделавшись через нас отцами, дедами, родственниками, прекратить войну? Если война эта предпринята ради нас, унесите нас с зятьями и детьми, возвратите нам отцов и родственников, не отнимайте мужей и детей; заклиная вас: не соделайте нас вторично пленниками». Таковы были представления Герсии; другие женщины присоединили к ней просьбы свои. Заключено было перемирие, и полководцы сошлись для переговоров. Между тем женщины приводили к отцам и братьям мужей и детей своих, приносили пищу и питье имевшим в том нужду; пеклись о раненых и относили их в свои дома. Показывали им, что они управляли домом; что мужья уважали их и обходились с ними с почтением и любовью. Наконец был заключен мир на следующих условиях: чтобы сабинянки, желающие оставаться с мужьями своими, были освобождены от всякой другой работы, кроме пряжи, как выше сказано; чтобы римляне и сабиняне жили в одном городе; чтобы город назывался Римом, по имени Ромула, а чтобы все жители назывались «квиритами»* по имени отца Татия; чтобы Ромул и Татий царствовали и предводительствовали войсками вместе.

Место, на котором заключены договоры, называется поныне Комитием* от латинского слова «комире» (*comire*) – «сходиться».

Таким образом, число граждан удвоилось. Сто сабинян причислены были к патрициям; легионы состояли уже из шести тысяч пеших и шестисот конных*. Все жители разделены были на три племени; принадлежащие Ромулу названы Рамны; Татию – Татии; третье племя названо Лукеры от слова «лукос» (*lucus*) – «роща», ибо в ней многие находили себе безопасное убежище и получали права на гражданство. Разделение народа на три части доказывается тем, что римляне называют племя трибами; начальники племен называются трибунами. Каждое племя разделено было на десять курий, которые, как говорят, названы были именами похищенных сабинянок, но это, кажется, ложно, ибо многие из них получили свое название от мест.

Римляне почтили женщин еще другими преимуществами, каковы суть следующие: мужчины уступали им дорогу, когда с ними встречались; не позволяли себе говорить перед ними ничего неблагопристойного и показываться нагими; когда они были обвиняемы в смертоубийстве, то не принуждали их являться пред судьей; дети их носили на шее украшение, называемое «буллой», по сходству его с водяным пузырем, и одежду с пурпуровой обшивкой*.

Цари рассуждали между собой о делах государственных, посоветовавшись наперед с своими сенаторами; после того собирали всех воедино. Татий жил там, где ныне храм богини Монеты*; Ромул – близ места, называемого «ступенями прекрасного берега», подле спуска с горы Палатинской в Большой цирк. На этом месте, как говорят, росло священное кизилевое дерево. Повествуют, что Ромул, желая некогда испытать свои силы, бросил с горы Авентинской копье, которое было из этого дерева. Конец копья столь далеко вошел в землю, что никто не мог его вытащить, хотя многие пытались; дерево укоренилось в плодородной земле, пустило ветви и поднялось высоко. Потомки Ромула окружили его стеной, стерегли и почитали как нечто священнейшее. Когда кто примечал, что оно не цвело, не зеленело и как бы увядало, кричал о том всем тем, кто ему попадался навстречу. Слышащие его, как бы на пожаре, просили воды; отовсюду сбегались люди, неся сосуды с водой. Говорят, что когда Гай Цезарь* строил ступени, работники, копая близ этого дерева землю, повредили его корни, и оно засохло.

Сабиняне приняли месяцы римские. В жизнеописании Нумы говорится подробнее то, что более замечательно в них. Ромул ввел в употребление сабинские щиты, переменял оружия свои и у воинов, которые прежде носили щиты аргосские*. Праздники и жертвоприношения были между ними общи; оба народа удержали свои древние торжества и установили новые, из числа которых есть праздники Матроналий и Карменталий*. Первый учрежден в честь женщин за прекращение ими брани. Богиня Кармента, которая, по мнению некоторых, есть Мойра, или Судьба, предстательствующая при рождении людей, была особенно почитаема матерями. Другие уверяют, что жена аркадянина Эвандра, пророчица, издававшая свои провещения в стихах, прозвана Карментой от слова «кармена» (*carmina*) – «стихи»; настоящее же ее имя было Никострата. Многие держатся мнения, что слово «кармента» значит «лишенная ума» – по причине иступлений, которым по вдохновению была подвержена: от слов «каре» (*career*) – «лишаться» и «ментем» (*mens*) – «ум». О Парилиях упомянуто выше.

Праздник Луперкалий, судя по времени, в которое отправляется, кажется, есть праздник очищения, ибо происходит во дни, почитаемые несчастливыми*, месяца февраля, который можно перевести очистительным. Самый же день празднования назывался в древности Фебрата. Название «Луперкалий» значит, собственно, «волчий»; по этой причине почитается весьма древним постановлением аркадян, переселившихся с Эвандром в Италию. Вероятно, имя это происходит от «волчицы», ибо мы видим, что луперки, или жрецы Пановы, начинают свой бег с того места, куда Ромул был выброшен. Трудно найти причины тому, что происходит на сих празднествах. Жрецы закалывают коз; к ним приносят двух отроков благородного происхождения. Одни касаются их чела окровавленным мечом; другие отирают их волной, омоченной в молоке. После сего обряда отроки должны смеяться. Разрезавши кожи закланных коз,

бегают они нагие, опоясавшись кожей, и бьют ремнями всех, встречающихся с ними. Молодые женщины не убегают от этих ударов, ибо верят, что они могут способствовать к плодородию и счастливому разрешению от бремени. В этом празднике отлично то, что луперки приносят в жертву собаку. Некий Бутас, описавший в своих элегиях баснословные причины некоторых римских обрядов, говорит, что Ромул, одержав победу над Амулием, побежал с восхищением к тому месту, в котором волчица кормила его с Ремом во младенчестве; что праздник Луперкалий есть подражание тогдашнему беганью и что благородного происхождения юноши бегают и бьют всех, кто с ними встретится, так же как в то время Ромул и Рем бежали из Альбы с обнаженными мечами. При том говорит, что окровавленный меч прикладывается к челу в знак тогдашнего убийства и крайней их опасности; обтирают же молоком – в память их вскормления. Гай Ацилий* повествует, что до создания Рима Ромул и Рем потеряли стада свои; что они, помолвившись Фавну, сняли одежду, дабы легче им было бежать и не потеть. По этой причине и луперки бегают нагие. Если эта жертва есть очистительная, то заклание собаки служит, может быть, к очищению. Греки в очищениях закалывают щенят и употребляют обряд, называемый «перискилакисм»*. Но если жертва эта есть жертва благодарственная волчице за спасение и вскормление Ромула, то не без причины закалывается собака. Их умертвляют за то, что они беспокоят луперков во время беганья.

Уверяют, что Ромул первый установил хранение священного огня и определил священных дев, называемых весталками. Другие приписывают это учреждение Нуме. Впрочем, известно, что Ромул был богопочтителен и сведущ в гаданиях. Он носил всегда в руках прорицательный жезл, называемый «литуон» (*lituus*). Это есть загнутая трость, которой авгуры, или наблюдатели полета птиц, начертывают на небе нужное им пространство*. Она хранилась в Палатине и исчезла во время галльских браней при взятии города.

По изгнании варваров найдена под глубоким пеплом без всякого от огня повреждения, хотя все прочее было пожрано огнем.

Ромул издал некоторые законы; самый строгий из них есть тот, которым запрещается жене разводиться с мужем, но позволено мужу отсылать от себя жену за отравление ядом, за подмену детей, за нарушение супружеской верности. Когда кто по другим каким-нибудь причинам разводился с женой, то имения его одна часть отдавалась ей, другая посвящалась Церере. Отсылающий от себя жену обязан был приносить жертву богам подземным. К собственным его законам принадлежит и то, что он не положил никакого наказания за отцеубийство; но под именем отцеубийства разумеет всякое смертоубийство, почитая одно ненавистным, другое невозможным. Долгое время почиталось правильным мнение его об этом злодеянии. В продолжение шестисот лет не случилось в Риме ни одного отцеубийства. Только после войны с Ганнибалом Луций Гостилий первый сделался отцеубийцей; но об этом довольно.

В пятый год царствования Татия некоторые родственники сего царя встретили на дороге посланников, шедших из Лаврента* в Рим; напали на них, хотели ограбить и, по причине их сопротивления, умертвили их. По свершении этого злодеяния Ромул хотел наказать преступников; но Татий колебался и отлагал наказание. В этом только случае примечен был между ними явный разрыв. В прочее время они управляли делами согласно и единодушно. Родственники убиенных, не получая законного удовлетворения потому, что Татий защищал виновных, умертвили его в Лавинии, когда он приносил вместе с Ромулом жертву, а Ромула, как государя правосудного, провожали с похвалами. Ромул похоронил тело Татия с честью на горе Авентинской, близ места, называемого Армилистрия*; но нимало не думал мстить за его убийство. Некоторые писатели свидетельствуют, что лаврентияне, страшась его гнева, выдали ему убийц и что Ромул, отпустив их, сказал: «Убийство убийством заглажено». Это подало повод подозревать его. Многие думали, что для него было приятно лишиться соправителя. Однако это не произвело никакого возмущения. Сабиняне пребыли спокойны. Одни были привержены к нему; другие страшились его силы; многие, почитая его божеством, были исполнены к нему

почтения. Не только подданные его, но многие иноплеменные народы удивлялись Ромулу и чтили его. Древние латиняне* заключили с ним союз и соединились дружбой.

Ромул завладел соседственным городом Фиденами, послав туда, как говорят, неожиданно конницу, которой велел отломить петли городских ворот; вскоре приспел туда и сам. Другие говорят, что фиденцы первые напали на его землю, грабили и разоряли предместья города и что Ромул, поставив засаду, многих умертвил и завладел их городом. Он не разрушил его; но сделал римским поселением и послал туда две тысячи пятьсот жителей в апрельские иды.

Вскоре после того Рим заражен был язвой; люди умирали внезапно без всякой болезни. Самая земля не приносила плодов, и животные не рождали. В городе выпал кровавый дождь. И так к стольким бедствиям присовокупился еще страх гнева богов. То же самое происходило и в Лавренте. Это заставило всех думать, что боги наказывают оба города за то, что не отомстили за умерщвление Татия и посланников. Когда с обеих сторон убийцы были выданы и наказаны, бедствия городов явно уменьшились. Ромул очистил их обрядами, которые, как говорят, и поныне совершаются у Ферентинских ворот*. Еще до прекращения этой язвы камерийцы напали на римлян и пробежали страну их, полагая, что они, в толикой слабости, противостоят им не могут. Ромул вышел против них, разбил в сражении и умертвил их шесть тысяч. Завладев их городом, половину жителей переселил в Рим и в секстильские календы перевел туда из Рима вдвое жителей против того, что там оставалось. Вот какое множество было у него граждан, хотя Рим существовал еще не более шестнадцати лет! Сверх других добыч привез он из Камерии медную, о четырех конях колесницу, которую и поставил в храме Вулкана с кумиром, представляющим себя, венчаемого победой.

Между тем как Рим усиливался, слабевшие соседи покорялись, довольствуясь тем, что могли жить в покое; но сильнейшие, страшась римлян и завидуя им, думали, что не должно оставлять Ромула без внимания; что надлежало противиться всеми силами его возвышению. Первые из тосканских народов – вейенты*, владевшие обширной страной и населявшие город многолюдный, начали войну тем, что требовали назад Фидены как город, им принадлежавший. Это было не только несправедливо, но и посмеяния достойно, ибо когда фиденцы находились в опасности и римляне нападали на них, они не подали им ни малейшей помощи, оставили их в их бедственной участи и требовали земли и домов их тогда, как ими владели другие. Ромул отвечал им на эти требования с ругательством. Тогда они, разделясь на две части, одной пошли против Федины, другой – навстречу Ромулу. При Фиденях одержали они победу и положили на месте две тысячи римлян. Другие, быв побеждены Ромулом, потеряли более восьми тысяч человек. После того дано было при Фиденях другое сражение, в котором, по признанию всех, величайшие подвиги произведены самим Ромулом, который оказал искусство, соединенное с смелостью, силу и быстроту сверхъестественные. Повествуемое многими, будто бы из четырнадцати тысяч павших неприятелей большая половина умерщвлена была рукой самого Ромула, не заслуживает ни малейшей вероятности, ибо и мессинян обвиняют в хвастовстве, по словам которых Аристомен* принес богам трижды гекатомфонию, или триста жертв за убийство им столького же числа лакедемонян. Разбив вейентов, Ромул позволил им предаваться бегству, а сам устремился на города их. После такого поражения они не могли устоять против римлян, просили мира, заключили союз на сто лет, уступили Ромулу часть области своей – так называемый Семптемпагий (то есть Семь селений) и находящиеся при реке соленые озера, а также дали ему в залог пятьдесят знаменитого рода граждан. Он имел торжественное шествие в идах октябрьских. За ним следовало великое множество пленных и предводитель вейентов, человек старый, который вел войну безрассудно и неприлично летам его. По этой причине хранится и поныне обычай, когда приносят победительные жертвы, проводить на Капитолий через площадь старика, одетого в пурпуровую одежду, с золотым на шее убором, называемым буллой, которую носят отроки. Глашатай кричит: «Продаются сардийцы!»* Говорят, что тосканцы суть поселенцы из Сард; Вейи же суть город тосканский.

Это была последняя война Ромула. Впоследствии не избег он того, что случается со многими – почти со всеми теми, которые велики и необыкновенным благоприятством счастья восходят на верх могущества и славы. Вознесенный своими подвигами, обнаруживал он надменность и гордость, какой прежде в нем не примечали; снисходительность и благосклонность его к народу превратилась в тягостное и ненавистное единоначалие. Оно оскорбляло взоры граждан самой одеждой его. Ромул носил алого цвета исподнее платье, а сверху пурпуром обшитую тогу*; делами занимался на троне; был всегда окружен молодыми людьми, называемыми «келерами» по причине быстроты их в услужении. Перед ним ходили другие, которые останавливали народ палками; они опоясаны были ремнями, дабы связать тотчас тех, кого он прикажет. Эти провожавшие его воины назывались «ликторы», от древнего слова «лигаре» (*ligare*), что ныне говорят: «аллигаре» (*alligare*) – «связывать». Ликторские палки называют «бакила» (*bacillum*). Может быть, что к этому слову прибавлена буква «к» и что прежде назывались они «литоры», от греческого слова «литургос» – «служитель народа». Греки и ныне называют народ «леитон», а чернь – «лаон».

После кончины деда его Нумитора в Альбе это царство принадлежало Ромулу; но он, угождая народу, представил альбанцам управляться самими собой и ежегодно посылал к ним начальника. Таким образом научил он сильнейших в Риме желать правления независимого и не единовластного, желать быть управляемыми и управлять в свою очередь. Уже патриции не участвовали нимало в правлении. Они имели лишь почтенное имя, отличались от других наружностью; но в совет собирались более по обычаю, нежели для подачи своего мнения. Они безмолвно внимали его повелениям, и единственное их преимущество состояло в том, что прежде других узнавали то, что было им постановлено. Все это было еще сносно, но когда он разделил сам от себя завоеванную землю воинам; когда вейетам возвратил заложников без согласия и совета сенаторов, то казалось уже, что он явно ругается над сенатом. Все это навело подозрение на сенат, когда Ромул вскоре после того исчез, что случилось в ноны июля (по-тогдашнему, квинтилия). О смерти его, кроме времени, ничего основательного и достоверного сказать нельзя. Поныне в этот самый день исполняются многие обряды, представляющие тогдашнее происшествие. Впрочем, не должно удивляться неизвестности о его смерти, вспомнив, что и Сципион Африканский*, отужинав в своем доме, умер; и о причине и роде смерти его никаких признаков не найдено. Одни говорят, что он умер скоропостижно, будучи больным и слабым от природы; другие – что он отравил себя ядом. Многие того мнения, что неприятели его напали на него ночью и задушили; однако Сципион лежал мертвый; все могли видеть его тело и догадаться о причине смерти. Ромул внезапно исчез и после него не найдено ни одной части его тела, ни куска его платья. Некоторые подозревали, что сенаторы напали на него в храме Вулкана, умертвили, разделили между собой его тело, и каждый из них вынес часть под своим платьем. Иные утверждают, что не в храме Вулкана и не в присутствии одних сенаторов исчез он, но за городом, близ болота, называемого Козым, где случилось, что собрался народ. Вдруг произошли на воздухе удивительные и чрезвычайные перемены. Солнце затмилось*; земля покрылась мраком, сопровождаемым страшными громами, порывистыми ветрами и бурей, со всех сторон угрожавшей. Народ рассеялся и предался бегству; но патриции собрались вместе. Когда гроза миновала, Солнце воссияло и народ начал сходиться, стали искать царя, желали его видеть; но патриции не допустили их искать его и долее любопытствовать. Они велели всем оказывать почтение Ромулу, как похищенному богами, которому назначено из доброго государя быть для них благосклонным божеством. Народ поверил словам их и, поклоняясь ему, удалился, исполненный радости и приятнейшей надежды. Были и такие, которые, разыскивая истину сего происшествия, с досадой и неудовольствием наводили на патрициев страх, обвиняли их в том, что они умертвили царя и старались уверить народ в нелепых рассказах.

Между тем как все было в беспокойстве и смятении, Юлий Прокул, патриций из переселенцев альбских, знаменитейший родом и нравами отличнейший человек, верный Ромулу и пользовавшийся его благосклонностью, предстал перед народом и клялся всем, что есть священо, что Ромул явился ему на дороге прекраснее и величественнее, нежели был когда-либо, в блистательных и огнем горящих доспехах; что, изумленный этим явлением, он сказал ему: «За какую вину нашу, государь, и с каким намерением оставил ты нас, несправедливо обвиняемых в преступлении, – весь город сирым и погруженным в бесконечной печали?» Ромул на это отвечивал: «Прокул! Богам угодно было, чтобы, пробыв столько времени среди людей и основав город, которому предназначено быть величайшим силой и славой, потом я вознесся на небо, с которого низошел. Но ты будь счастлив и скажи римлянам, что мужеством и благоразумием они достигнут величайшей силы среди людей. Я, бог Квирин, буду покровителем вашим». Римляне поверили словам этим по причине клятвы и нравов говорящего. Кажется, что нечто божественное овладело тогда их чувствами, как бы они были в исступлении. Никто из них не противоречил ему; оставя все подозрения и обвинения, начали молиться Квирину как богу и просить его покровительства. Все это кажется подобно тому, что повествуется греками об Аристее Приконнесском* и Клеомеде Астипалейском. О первом они говорят, что умер в некоей красильне и что тело его сделалось невидимо, когда друзья его пришли его искать. В то самое время прибывшие в город путешественники уверяли, что они встретили Аристее, шедшего по Кротонской дороге.

Касательно Клеомеда* повествуется, что при необыкновенной силе и величине тела был он уродлив и неистов и поступал во многом весьма насильственно. Войдя некогда в училище, в котором учились дети, ударил рукой столб, на коем потолок опирался, и сломил его; верх обрушился и раздавил всех. Будучи за то преследуем, он бросился в большой сундук и держал крышку столь крепко, что многие соединенными силами не могли ее поднять. Наконец разломали сундук, но не нашли в нем Клеомеда – ни живого, ни мертвого. Удивленные этим случаем, жители послали в Дельфы спросить пифию. Она дала им следующий ответ:

Последний Клеомед в полубогах-героях.

Повествуют также, что тело Алкмены исчезло при погребении ее и что на одре увидели вместо ее камень.

Вообще многие писатели рассказывают, подобно сему, баснословные случаи, не заслуживающие вероятия; они равняют с божеством то, что по природе своей смертно. Не признавать божественности добродетели нечестиво и неблагородно; но глупо и смешно смешивать небо с землею. И так мы, держась осторожности, скажем с Пиндаром;

Добыча смерти, разрушенья
Всех земнородных суть тела.
Ты образ вечности нетленья,
Душа! По смерти ты жива.
Едина от богов имеешь
Свое начало, бытие...

Она от них идет и к ним возвращается – не вместе с телом, но лишь тогда, когда от тела освободится, отделится от него, сделается совершенно чистой, бесплотной, святой. Ибо, по словам Гераклита, сухая душа есть лучшая*. Как молния пролетает тучу, так душа эта пролетает тело. Но душа, смешанная с телом и, так сказать, исполненная тела, подобно испарению тяжелому и мрачному, нелегко возгорается и с трудом возносится на высоту. Итак, неприлично возносить против природы на небо тела доблестных мужей вместе с душами их; но надлежит

думать, что добродетелями украшенные души по природе своей и по справедливости божией из человеков делаются героями, из героев гениями, из гениев наконец, если совершенно очистятся и освятятся, как бы посредством таинственных обрядов, скинув с себя все смертное и страдательное, возносятся к богам не гражданским постановлением, но по истине, по справедливости, приемля конец прекраснейший и блаженнейший.

Что касается до прозвания Квирина, данного Ромулу, то это, по мнению одних, значит то же, что «Марс», а по мнению других, «гражданин», ибо граждане римские назывались «квири-тами». Некоторые уверяют, что острое, или копье, древними называлось «квирис», и Юнона, кумир которой стоит на острие, называется Юнона Квиритида. Копье, посвященное в Регию, называется Марсом; отличившимся в битвах дается в награду копье. Может быть, Ромул назван Квирином для означения того, что он есть бог воинственный. Ему посвящен храм на холме, который по его имени назван Квиринальским.

День, в который Ромул исчез, называется бегством народа и нонами Капратинскими, ибо выходят из города и приносят жертву на так называемом Козьем болоте. «Коза» по-латыни называется «капра». Идучи к этому месту, произносят с криком разные собственные имена, как-то: Марк, Луций, Гай, – подражая таким образом тогдашнему их беганию, когда друг друга призывали в страхе и смущении. Некоторые уверяют, что это есть подражание не бегству, но увещанию и ободрению, и дают сему следующую причину. После того как галлы, обладавшие Римом, были из него изгнаны Камиллом и ослабшие римляне с трудом возобновляли свои силы, многие латинские народы ратоборствовали на них под предводительством Ливия Постума. Этот полководец, став станом недалеко от Рима, послал вестника с объявлением, что латиняне желают возобновить древнюю дружбу и родство, ослабшие от времени, и соединить новыми браками два народа: что если пришлют к ним довольное число девиц и безмужних жен, то заключать с ними мир и союз – так, как они сами в подобном случае заключили прежде дружбу с сабинянами. Римляне боялись войны; но выдачу жен почитали столь же позорной, как и самое рабство. Они находились в недоумении, когда некоторая рабыня по имени Филотида, а по свидетельству других – Тутола, советовала им не делать ни того ни другого, но, употребив выдуманную ею хитрость, избежать тем и войны, и выдачи женщин. Хитрость эта состояла в том, чтобы Филотиду и с нею других лицом пригожих рабынь, одетых в платье, приличное свободным женщинам, послать в стан неприятельский. Ночью Филотида должна была дать знак свечой, дабы римляне наступили вооруженные на спящих неприятелей и умертвили бы их. Латиняне поверили им – и предначертание исполнилось. Филотида подала знак с дикой смоковницы; она протянула завесы и покрывала, дабы от неприятеля сокрыть свет, который был видим только римлянам. Когда они увидели знак этот, то вышли поспешно из города и для большего понуждения называли друг друга по имени. Они напали неожиданно на неприятелей и разбили их. Эту одержанную тогда победу празднуют и поныне. Ноны эти называются Капратинскими от дикой смоковницы, которую римляне называют словом «капрификон» (*caprificus*). Женщин угощают вне города под тенью смоковичных ветвей. Рабыни, ходя взад и вперед, собирают деньги и шутят; потом бьют одна другую и мечут камнями в память того, что и в то время пристали к сражавшимся римлянам и помогали им. Но это не всеми писателями принято. Обыкновение кликать друг друга по имени и выходить на Козье болото для принесения жертвы, кажется, более утверждает первое мнение. Может быть и то, что эти приключения случились в разные времена, но в один день. Ромул сделался невидим в пятьдесят четвертый год своей жизни. И в тридцать восьмой своего царствования.

Сравнение Тесея с Ромулом

Вот что я мог узнать достопамятнейшего в жизни Ромула и Тесея.

При самом начале находим мы, что один, не быв никем принуждаем, тогда как мог царствовать спокойно в Трезене, получив в наследство немалозначащее государство, предпринял сам великие подвиги; другой, напротив того, для изображения рабства и наказания, ему угрожавшего, сделавшись, как говорит Платон, храбр от страха и боясь подвергнуться крайней опасности, приступил по нужде к великим предприятиям. Величайшее дело сего было погубление одного тиранна Альбского. Скирон, Синис, Прокруст, Коринет были первые опыты и, так сказать, посторонние подвиги Тесеевы; умертвляя и наказывая их, освобождал он Грецию от жестоких тираннов прежде, нежели спасенные им могли узнать, кто он таков. Тесей мог спокойно ехать водой, без всякой обиды со стороны разбойников; но Ромулу было невозможно при жизни Амулия жить спокойно. Доказательством этому служит то, что Тесей, не будучи прежде обижен, нападал на злодеев для защиты других; а Ромул и Рем позволяли тиранну всех угнетать до тех пор, пока сами от него не были оскорблены. Впрочем, если в Ромуле почитают великим то, что он был ранен в сражении с сабинянами, что умертвил Акрона и покорил войной многих врагов, то делам этим можно противополжить битву с кентаврами и войну с амазонками.

Смелое предприятие Тесея – избавить отечество от дани, платимой критянам, когда он самовольно отплыл с девами и отроками, дабы предать себя на съедение какому-либо зверю, или на заклание над гробом Андрогей, или, наконец (что легче всего этого), на бесславное и поносное служение людям враждебным и безжалостным, – есть дело столь великой смелости, толикого великодушия, толикой справедливости к обществу, любви к славе и добродетели, что невозможно его описать во всей его важности. Мне кажется, что философы недурно определяют любовь, говоря, что она есть помощь, богами ниспосылаемая к исправлению и спасению юношей. Подлинно любовь к нему Ариадны была не что иное, как дело некоего бога, который хотел через нее спасти сего мужа. Не только не прилично порочить Ариадниной любви, но, напротив того, должно удивляться, что не все почувствовали к нему такой же склонности. Если же она одна пленилась им, то можно сказать, что она достойно заслужила любовь Вакха за то, что воспламенялась любовью к добродетели, к мужеству и к доблестным мужам.

Хотя Ромул и Тесей были созданы управлять, однако ни один не сохранил приличных царю качеств. И тот и другой преступили пределы царского достоинства. Один склонился к народоправлению, другой к самовластию;

оба погрешили в одном, но поддавшись различным страстям. Первый долг управляющего есть сохранение самой власти. Она сохраняется, удерживаясь от непристойного, не менее как наблюдая то, что пристойно. Тот, кто преступает пределы строгости или снисхождения, не остается более царем или правителем, но делается либо демагогом, либо деспотом и производит к себе в управляемых ненависть или презрение. Однако первое есть проступок кротости и человеколюбия; второе – самолюбия и жестокости.

Если не должно вовсе приписывать року все наши несчастья, но надлежит искать их причины в разности страстей и нравов, то нельзя оправдать безрассудного гнева, стремительной и необузданной ярости Ромула к брату, ни Тесея к сыну. Начало, побудившее к гневу, более извиняет того, кто должен был уступить важнейшей причине, как бы жесточайшему удару. Если Ромул имел спор с братом о пользе общей с намерением и рассуждением, то нельзя поверить, чтобы рассудком его овладела внезапно такая ярость. То, что вооружило Тесея против сына, было любовь, ревность, женские клеветы – побуждения, которых немногие могли преодолеть. Всего важнее то, что гнев увлек Ромула к совершению дела, которого последствия были пагубны; но гнев Тесея обнаружился одними словами, упреками, старческим проклятием. Впрочем, несчастья сего юноши более приписать должно судьбе. Вот что можно сказать в пользу Тесея!

В Ромуле, однако, во-первых, велико то, что он возвысился до такой степени от начала, самого малозначащего. Называясь рабами, сынами пастухов, эти два брата, прежде нежели

сделались вольными, освободили всех почти латинян и одним разом приобрели славнейшие названия – победителей врагов, спасителей родственников, царей народов, основателей городов, а не переселителей, подобно Тесею, который хотя составил и основал один город, однако уничтожил многие города, имевшие названия древних героев и царей. Ромул делал то же самое после; он принуждал неприятелей оставлять и разорять свои обиталища и присоединяться к победителям. Всего важнее то, что он не населил и не увеличил города, прежде существовавшего; но основал город новый там, где не было никакого, приобретая себе вкуче область, отечество, царство, племя, супружество, родство. Никого не умерщвлял и не губил; напротив того, сделался благотворителем тех, кто из беглецов и бродяг, не имевших постоянного жилища, хотел составить народ и быть гражданином. Он не истреблял разбойников и злодеев, но покорял войной народы, брал города, торжествовал над царями и полководцами.

Касательно убийства Рема писатели между собой не согласны. Многие обвиняют в этом большей частью других, а не Ромула. Однако всем известно, что он избавил мать свою от гибели, а деда, поносно и бесчестно служившего другому, посадил на престол Энеев. Он оказывал ему многие услуги по своей охоте и даже неумышленно не причинил ему неудовольствия. Но Тесея за пренебрежение и забвение отцовского повеления о перемене паруса едва ли можно оправдать в отцеубийстве, даже с великими извинениями и перед самыми снисходительными судьями. По этой причине некий афинский писатель, заметив, сколь трудно оправдать его в этом случае, пишет, будто Эгей, сведав о приближении корабля, побежал поспешно на Акрополь, дабы его увидеть, и, поскользнувшись, упал как будто бы Эгей никого не имел при себе или, идучи к морю, оставлен был без всякой помощи от своих служителей!

Касательно несправедливого похищения женщин: нет сомнения, что Тесей не может в том найти благовидного оправдания, во-первых, потому, что он похищал несколько раз. Он похитил Ариадну, Антиону и Анаксо из Трезены; наконец, в старости, Елену – еще младенческую, не созревшую для брака, будучи сам в таких летах, когда было бы прилично и от законного воздержаться супружества. Во-вторых, причина, к тому его побудившая, достойна порицания, ибо женщины из рода Эрехтея и Кекропа в Афинах были способны рожать детей не хуже трезенянок, спартанок и амазонок, которые не были с ним обручены. Все это заставляет подозревать, что эти похищения суть следствия сладострастия и невоздержания. Ромул, напротив того, похитив без малого восемьсот женщин, оставил себе только одну Герсилию, а всех других роздал лучшим гражданам. Уважение, любовь и справедливость, оказываемые этим женщинам, послужили доказательством того, что это насильственное и несправедливое похищение было прекраснейшее дело, произведенное в действо с политическим благоразумием для соединения народов. Через него два народа совокупились и связались теснейшими узами; оно было источником силы и величия государства и взаимной между двумя народами благосклонности. Впрочем, время свидетельствует, какую скромность, какое постоянство и дружбу ввел Ромул в супружество. В течение двухсот тридцати лет ни один муж не осмелился покинуть жены своей*, ни одна жена своего мужа. Подобно как в Греции ученые знают по имени первого отцеубийцу или матереубийцу, так всем римлянам известно, что Карвий Спурий первый развелся с женой и то по причине бесплодия ее*. Свидетельство времен подтверждается самими происшествиями. Власть сделалась общей между двумя царями, права гражданства общими между обоими народами – по причине сего брачного союза. Браки Тесея не принесли афинянам ни дружбы, ни союза с другими народами; напротив того, были причиной вражды, браней, убийства граждан и потери Афидн. Милосердию неприятелей своих, которым они поклонялись, которых называли богами, обязаны они тем, что не подверглись участи, постигшей Троя за вину Париса. Что касается до матери Тесея, не только была она в опасности, но претерпела страдания Гекубы, будучи оставлена и предана своим сыном, – повествуемое о ее плене и все прочее не есть одна выдумка. Желательно, чтобы как это, так и многое другое было выдумано и ложно. Наконец, повествуемое о божественном их происхождении полагает

великое между ними различие. Ромул был спасен по рождении единственно благостью богов; но прорицание, данное Эгею, не касаться женщин в чужой земле доказывает, что Тесеево рождение воле богов было противно.

Ликург и Нума

Ликург

О законодателе Ликурге не можем сказать вообще ничего, что бы не было подвержено сомнению*. Род его, удаление из отечества, кончина, а более всего законы и образ установленного им правления различно описаны. Менее всего писатели согласны во времени, в которое он жил. Одни говорят, что он был современник Ифита* и вместе с ним установил наблюдаемое в продолжение Олимпийских игр перемирие. Этого мнения держится и философ Аристотель; он приводит в доказательство находящийся в Олимпийском храме диск, на котором написано имя Ликурга. Считающие время, подобно Эратосфену и Аполлодору*, по порядку царей спартанских полагают, что он жил гораздо прежде первой олимпиады. Поскольку в Спарте было два Ликурга в разные времена, то Тимей* думает, что дела обоих приписаны одному по причине большей его славы; что старший из этих Ликургов жил не прежде Гомера и, как некоторые полагают, имел с ним свидание. Ксенофонт также подтверждает мнение о древности его, замечая, что он жил во времена Гераклидов. Однако и последние цари спартанские были родом Гераклиды; но этот писатель, кажется, называет Гераклидами первых царей, близких к Гераклу. Несмотря на это между историками разногласие, мы постараемся описать жизнь этого мужа, следуя тому, с чем менее находится противоречий и что утверждается достовернейшими свидетелями.

Стихотворец Симонид называет отца Ликурга не Эвномом, но Пританидом*. Большая часть писателей иначе описывают родословие Ликурга и Эвнома. Они говорят, что от Прокла, сына Аристодема, родился Сой, от Соя – Эврипонт; от последнего – Пританей; от Пританея – Эвном, у которого от первой жены был Полидект, а от второй, Дианассы, – Ликург. По свидетельству Диэвхида*, Ликург есть шестой после Прокла и одиннадцатый после Геракла. Из предков Ликурговых более прославился Сой, в царствование которого спартанцы поработили илоты* и отняли у аркадян великие земли.

Повествуют, что этот самый Сой, быв осажден клейторянами на месте, весьма крепком и безводном, обещал возвратить им отнятую у них землю, когда он и все его воины напьются воды из ближнего источника. Клейторяне на то согласились; с обеих сторон учинена была присяга. Сой собрал своих воинов и обещал уступить царство тому, кто не будет пить воды. Ни один не мог воздержаться; все пили. Сой пришел после всех, умылся водой в присутствии самих неприятелей, удалился, не возвративши земли по обещанию под тем предлогом, что не все пили. Хотя лакедемоняне за это отлично его почитали, однако его потомков – не от него самого, но от его сына – назвали эврипонтадами, ибо Эврипонт, по-видимому, первый из угождения к народу ослабил великую власть царскую. По причине этого послабления народ сделался наглым и дерзким. Последовавшие цари частью употребляли насилие и были ненавидимы, частью терпели наглость народа из угождения ему или из слабости, отчего своевольство и беспорядки через долгое время господствовали в Спарте. В этих неустройствах окончил жизнь свою царь, отец Ликурга, который желал разнять драку, был поражен поварским ножом и, умирая, оставил царство первородному сыну своему Полидекту.

Вскоре после того умер и Полидект. Все думали, что надлежало царствовать Ликургу. И действительно царствовал он, доколе не открылось, что жена брата его была беременна. После сего вскоре Ликург объявил, что царство принадлежит младенцу, если он будет мужского пола. Сам он управлял царством в качестве опекуна. Лакедемоняне называют «продиками» опекунов царских детей. Между тем вдова Полидекта тайно послала сказать Ликургу, что она готова погубить плод свой и выйти за него замуж, когда он будет царем в Спарте.

Ликург вознегодовал на жестокость этой женщины; однако нимало не противился ее предложению; показывая, будто одобряет ее мысли и соглашается на ее желание, объявил он ей, чтобы она береглась повредить себя и подвергнуть опасности жизнь свою принятием лекарства и что он постарается погубить младенца, как скоро он родится. Таким образом, обманывая эту женщину во время ее беременности, узнал наконец, что она мучается родами; он приставил к ней свидетелей и стражей, повелел им, если родится дочь, отдать ее женщинам; если же сын – принести к нему, где бы он ни находился. Ликург ужинал с главными начальниками Спарты, когда родился младенец; служители принесли его к нему; он взял его на руки и сказал присутствовавшим: «Вот царь ваш, спартанцы!» Потом положил отрока на царское место и назвал его Харилаем* потому, что все радовались и восхваляли величие его души и справедливость. Ликург царствовал восемь месяцев. Граждане оказывали ему великое почтение; многие обращали на него свои взоры и охотно исполняли его приказания из уважения к его добродетелям; другие повиновались ему как опекуну царскому, имевшему верховную власть в руках своих. Однако у него были и завистники, старавшиеся противиться его возвышению во время молодости*. Особенно вооружены были против него родственники и друзья царевой матери, которая почитала себя им обиженной. Брат ее Леонид однажды, ругая его с великой наглостью, сказал, что знает наверняка, что Ликург будет царем. Этим хотел он заранее возбудить против него клевету и подозрение в злоумышлении, если бы младому Харилаю приключилось какое-либо несчастье. Подобные слухи рассеивала и царица. Это оскорбило Ликурга; он боялся неизвестности будущего. Для этого вознамерился удалением своим из отечества истребить подозрения и путешествовать до тех пор, доколе племянник его не получит наследника.

Он отправился сперва на Крит, обозрел в нем разные роды правления и пользовался беседой с знаменитейшими критянами. Многие их законы показались ему превосходными; он принял их и ввел в свое отечество; некоторые, впрочем, отвергнул. Он склонил дружбой или просьбой Фалеса, одного из них* – мудрецов и политиков, отправиться в Спарту. Этот Фалес, казалось, был творцом лирических песен; но стихами своими производил то, к чему стремятся лучшие законодатели. Песнопения его заключали в себе наставления, побуждающие к повиновению и единодушию; сладкогласие и размеры его стихов были исполнены важности и силы, укрощающей страсти; нечувствительно смягчали нравы слушателей, вдыхали в них любовь к добродетели и заставляли забыть водворившиеся тогда между ними раздоры и ненависть. Таким образом, стихотворец этот проложил отчасти Ликурга путь к исправлению граждан.

С Крита Ликург отплыл в Азию, желая, как говорят, подобно врачу, сравнивающему здоровые тела со слабыми и больными, сличить простой и строгий образ жизни критян с роскошью ионян* – и видеть разность в их жизни и правлении. Там, по-видимому, нашел он стихотворения Гомера, сохраняемые потомками Креофила*. Усмотрев, что нравоучение и политические наставления, в них рассеянные, заслуживают внимания не менее увеселительных и забавных повестей, содержащихся в них, Ликург собрал и списал их для перенесения в Грецию. Греки уже имели некоторое темное понятие о этих стихотворениях; были у немногих одни только отрывки, ибо стихи эти переходили из рук в руки по частям и без всякой связи*. Ликург первый сделал их известными в целости.

Египтяне уверяют, что Ликург был и у них; и так как более всего понравилось ему то, что у них военное состояние отделено было от других, то учредил он то же самое в Спарте и, отделив ремесленников и работников, составил общество совершенно чистое, без всякой примеси*. Некоторые из греческих писателей говорят о том согласно с египтянами; но, сколько нам известно, кроме спартанца Аристократа, сына Гиппарха*, никто не говорит, чтобы Ликург был в Ливии и в Иберии и чтобы доходил до Индии, где беседовал с гимнософистами.

Между тем лакедемоняне желали его возвращения; часто посылали звать его. Они видели, что цари их имели только одно имя и наружные почести, но более ничем не отличались от других. В одном Ликурге видели они душу, могущую управлять государством, и способ-

ность привлекать людей. Самые цари желали его возвращения, надеясь, что присутствием его укротится наглость народа и что удобнее можно будет им управлять. Так расположены были все, когда Ликург возвратился в Спарту! Вскоре он решился переменить все и ввести новый образ правления, рассуждая, что постановление частных законов будет бесполезно и недействительно и что в теле слабом и зараженном болезнями должно истребить зло, переменить лекарствами его расположение и предписать ему совершенно новую диету.

Приняв это намерение, Ликург сперва отправился в Дельфы, спросил прорицалище, принес Аполлону жертвы и возвратился в Спарту с тем славным прорицанием, в котором пифия называет его другом богов, более богом, нежели человеком. Касательно же лучшего рода правления прорицалище ответствовало, что Аполлон благосклонно приемлет его моление и дает стране его правление, имеющее превзойти все прочие. Ободренный этим ответом, сообщил он свое намерение знаменитейшим гражданам и увещевал их приняться за это дело. Когда настало время приступить к действию, Ликург велел тридцати первым мужам на заре прийти на площадь в полном вооружении, дабы тем изумить противников и внушить им страх. Гермипп* перечислил имена двадцати знаменитейших. Но того, кто более прочих принимал участие во всех предприятиях Ликурговых и помогал ему ввести новые законы, называли Артемиадом. При начале сего беспокойства царь Харилай устранился, думая, что против него заговор; он убежал в храм Афины Меднодомной*, но, поверивши клятвам, оставил свое убежище и принял участие в Ликурговом предприятии. Он был от природы нрава столь кроткого, что царствовавший с ним Архелай сказал некогда хвалившим молодого Харилая за добродушие: «Как ему не быть добрым, когда он и против злых не может быть жестоким?»

Из числа новых перемен, введенных Ликургом, первая и главнейшая есть учреждение геронтов*. Это самое учреждение, по словам Платона, умеряя излишество власти царей и сделавшись ей равносильным, было виной спасения и успокоения государства, которое, находясь всегда в волнении, склонялось то на сторону царей, делая власть их насильственной, то на сторону народа и народоправления. Власть геронтов, будучи поставлена в середине и, подобно некоей тяжести, содержа обе стороны в равновесии, сохраняла порядок в безопасном и незыблемом состоянии. Геронты присоединялись к стороне царей сколько нужно было, дабы противиться восстающей демократии, и подкрепляли народ, дабы правление не сделалось тиранническим. По свидетельству Аристотеля, число геронтов простиралось до двадцати восьми, ибо из тридцати человек, сперва приставших к стороне Ликурга, двое по робости своей отказались от сего предприятия. Сфер* уверяет, что участвовавших в этом деле с самого начала было именно столько. Может быть, предпочел Ликург это число как состоящее из семи четыремя умноженных, ибо оно есть совершенное после числа шести, так как равно сумме своих множителей*. Мне кажется, что он избрал двадцать восемь геронтов, дабы совет состоял из тридцати человек, считая двоих царей.

Ликург столько заботился об этом сословии, что привез из Дельф прорицание, называемое «ретрой», касательно этого постановления, и которое есть следующее: «Построив храм Зевсу Силланийскому и Афине Силланийской*, разделив народ по коленам, составить Совет из тридцати геронтов, придав к ним царей; по временам будешь собирать народ меж Бабиной и Кнакионом; здесь будут предлагаемы народу дела и отбираемы мнения; народу дана будет власть утверждать или отвергать предлагаемое». Приказ «разделить» относится к народу, а колена и обы – названия частей и групп, на которые следовало его разделить. «Вожди» суть цари. «Аппеладзейн» значит «собирать народ», ибо Ликург приписывает Аполлону Пифийскому начало и причину установленного им правления. Бабики и Кнакион называются ныне⁵ <...> и Энунтом. Аристотель уверяет, что Кнакион есть река*, а Бабики означают мост. На этом месте были собрания у лакедемонян. Не было здесь ни портиков, ни других каких-либо зданий.

⁵ Текст в оригинале испорчен.

Ликург думал, что все это не только не способствует к поданию благих советов, но более вредит, наполняя пустыми и бесполезными мыслями души присутствующих и развлекая внимание их, когда будут взирать на кумиры и живопись, на украшения театра или на искусно обделанные потолки совещалища. Во всенародном собрании никому не позволялось предлагать своего мнения; народ имел только власть принимать или отвергать то, что было предлагаемо царями и геронтами. Когда впоследствии народ начал то прибавлять к их мнениям, то ограничивать и тем превращал и портил оные, тогда цари Полидор и Феопомп прибавили к ретре следующее: «Если народ изберет худшее, то старейшины и цари могут отстать от собрания», то есть не утверждать принятого народом мнения и распустить собрание народа, превращающего и отвергающего лучшие советы. Они убедили согласиться на это сограждан своих, представляя им, что Аполлон это повелевает; о чем упоминает и Тиртей* в следующих стихах своих:

Сам ныне Аполлон чрез пифию вещает:
Цари, которых честь божественна венчает,
Которые милуют страну сию и град,
И старцы мудрые совет да учредят
И первенствуют в нем; храня повиновенье,
Народ да внемлет им и утверждает мненье.

Хотя Ликург таким образом составил правление, однако после него олигархия казалась еще весьма неумеренной, неограниченной и необузданной, и потому, говорит Платон, наложили на нее, как узду, власть эфоров. Около ста тридцати лет после Ликурга избран был первым эфором* Элат в царствование Феопомпа. Жена укоряла этого государя в том, что он передает сынам своим власть меньшую, нежели какую принял сам. «Напротив того, – отвечал Феопомп, – тем она больше, чем долговременнее». В самом деле, власть спартанских царей, потеряв все излишество, вместе с завистью, ее сопровождающей, освободилась от всякой опасности. По этой причине его потомки не подверглись участи аргивянских и мессенских царей, которые не захотели умерить своей власти и несколько уступить народу. Мудрость и прозорливость Ликурга будут ощутительнее для того, кто рассмотрит дурное правление мессенцев и аргивян, этих соседственных, родством с спартакцами соединенных народов, и раздоры их с царями. Хотя они с самого начала были равны спартакцам и обладали лучшими землями*, однако благоденствие их не было продолжительным. Надменность царей и неповиновение народов ниспровергли порядок вещей и этим доказали то, что образовавший и умеривший спартанское правление подлинно есть благо, спартакцам свыше ниспосланное. Но это случилось в позднейшее время.

Второе Ликурово постановление, самое отважное, есть разделение земель. Неравенство состояний было чрезвычайное. Город наполнен был людьми недостаточными, не имевшими никакой собственности, между тем как все богатство стекалось к немногим гражданам. Ликург, желая изгнать надменность, зависть, обман, роскошь и гораздо древнейшие и большие недуги, каковы суть богатство и бедность*, склонил сограждан учинить свои земли общими, снова разделить их и жить в равенстве состояний между собой, отдавая преимущество лишь добродетелям, не полагая другой разности и другого несходства между людьми, кроме того, что отличает хулу за гнусные дела от похвалы за великие подвиги. Вскоре начал он производить это в действо. Одну часть лаконской земли разделил между окрестными жителями на тридцать тысяч долей; другую, принадлежавшую городу, на десять тысяч, ибо такое число было в Спарте граждан. Некоторые говорят, что Ликург разделил землю на шесть тысяч частей, а три тысячи прибавил потом царь Полидор. Иные же уверяют, что одна половина из девяти тысяч разделена была Ликуртом, а другая присовокуплена тем же царем. Каждый участок земли мог приносить семьдесят медимнов ячменю мужчине, двенадцать – женщине и соразмерную сему

часть жидких продуктов*. Он думал, что этого количества было довольно для их прокормления, для сохранения здоровья и силы телесной и что в большем они не имели нужды. Говорят, что несколько времени после этого раздела Ликург, возвращаясь из путешествия, когда уже колосья были пожаты, и видя скирды все ровными, в одинаковом расстоянии, улыбнулся и сказал предстоявшим: «Вся Лакония представляется наследством многих братьев, недавно разделившихся между собой»*.

Ликург предпринял намерение разделить и движимое имение, дабы во всем истребить неравенство и несходство; но, видя, сколь трудно было явно склонить на то спартанцев, употребил другой способ и тем обманул их любостязание. Во-первых, уничтожил он все золотые и серебряные деньги, приказал употреблять одни железные; но сделал их, при весьма низкой цене, столь большими и тяжелыми, что для перевозу десяти мин надлежало запрягать в телегу пару волов и для сохранения иметь особую кладовую в доме. Введением этих денег изгнаны были из Лакедемона многие злодеяния. Кто бы захотел принимать дары, обманывать, грабить или красть то, чего скрыть было невозможно, приобрести – незавидно и разломать для употребления – бесполезно? Говорят, что Ликург велел закалять железо, омокая его в уксусе, чем делал негодным к работе и отнимал у него силу.

После того он изгнал все бесполезные и излишние искусства. Но хотя бы он их и не изгнал, большая часть должна была уничтожиться сама, вместе с прежней монетой. Некому было подавать свою работу, ибо железных денег нельзя было перевести к другим грекам, у которых они не имели никакой цены и были осмеиваемы. Невозможно уже было покупать никаких иноземных ненужных вещей; никакой торговый корабль не приставал к берегам Лаконии; никакой хитрословный мудрец, никакой гадатель-обманщик, ни содержатель прелестниц или художник серебряных и золотых украшений не вступал в эту область – не было уже денег. Таким образом, роскошь, лишившись всего того, что согревает и питает ее, сама собою увядала. Богатые не пользовались никакими выгодами; не имели способов выказать своего богатства, которое пребывало в бездействии, как будто было заключено и застроено без употребления. Это было причиной того, что самые употребительные, домашние вещи, как-то: постели, столы, стулья работали у спартанцев весьма искусно; так называемый котон, или лакедемонская чаша, был в славе, особливо во время походов, как говорит Критий; ибо когда надлежало пить по нужде воду нечистую и противную взору, то цвет этой чаши скрывал дурной вид воды; а наклоненные края удерживали грязь и пропускали в рот одну чистую воду. Законодатель был и сему причиной, ибо ремесленники, освободившись от бесполезных работ, оказывали свое искусство в вещах самых нежных.

Ликург, желая еще более истребить роскошь и даже искоренить желание к богатству, ввел третье прекрасное учреждение – общественные столы. Гражданам надлежало всем есть вместе* общественное и законом определенное кушанье; запрещено им было есть дома, возлежа на великолепных постелях, за роскошными столами и, подобно обжорливому животному, жиреть во мраке, из рук поваров и продавцев сластей, погубляя вместе с нравами здоровье тела, ибо оно, предавшись всяким прихотям и невоздержанию, имеет нужду в долговременном сне, в теплых банях, во всегдашнем успокоении и как бы во вседневном врачевании. Велик был этот подвиг; но всего важнее то, что учреждением общественных столов и простотой кушанья сделал он богатство, как говорит Феофраст, незавидным и бесполезным. Можно ли было употреблять великолепие, наслаждаться им, показывать его и гордиться его блеском там, где богатый шел к одному столу с бедным? Подлинно из всех под солнцем городов в одной лишь Спарте Плутос (бог богатства) был, как говорят, слеп*, ибо лежал не подымаясь, подобно неподвижному и бездушному изображению. Никто не смел, наевшись у себя, ходить к общественному столу, ибо другие прилежно наблюдали за тем, кто не ел и не пил с ними, и порицали его как невоздержанного, по изнеженности своей оставляющего общественный стол.

Говорят, что богатым это постановление более всего было неприятно; они собирались вместе, кричали против Ликурга, негодовали на него. Некогда они преследовали его с камнями, и он едва спасся бегством от ярости их в некоторый храм. Алкандр, молодой человек, стремительный и пылкий, но недурных свойств, не переставал гнаться за ним и в то время, как Ликург оглянулся назад, ударил его палкой и вышиб глаз. Ликург, не теряя бодрости при этом несчастье, обратился к гражданам и показал им окровавленное лицо. Стыд и уныние охватили всех; предали Алкандра ему и проводили его до дому, оказывая соболезнование и негодуя на происшедшее. Ликург благодарил их и отпустил; Алкандра же оставил у себя, не сказав и не сделав ему ничего дурного; но, уволив своих служителей, велел Алкандру служить себе. Этот юноша, будучи не низкого сердца, исполнял в молчании его приказания. Живши вместе с ним, будучи свидетелем кротких чувствований его души, строгого образа жизни, неутомимости в трудах, прилепился к нему сильнейшею любовью и говорил приятелям своим, что Ликург нимало не жесток и не горд; что он один кроток и снисходителен к другим. Таким образом исправился Алкандр и такое получил наказание! Из необузданного и наглого юноши сделался человеком скромным и благоразумным. В память сего несчастья Ликург воздвигнул храм Афине, которую нарек Оптилетидой; тамошние доряне глаз называют «оптилос». Диоскорид*, издавший описание спартанского правления, с некоторыми другими уверяет, что Ликург был ранен, но не лишился глаза и что храм соорудил Минерве в благодарность за свое исцеление. С тех пор спартанцы перестали носить палки во время Народного собрания.

Что касается до общенародных столов, то критяне называют их «андриями», лакедемоняне же «фидитиями», от слова «филия» (дружба), с переменой буквы «л» на «д», – поскольку эти общественные столы рожают дружбу и взаимную приязнь или оттого что приучают к простоте и бережливости, которая по-гречески называется «фидо». Может быть еще, что первая буква прибавлена и что названы фидитии вместо эдитии от слова «питание», или «пища».

К каждому столу собирались пятнадцать человек, несколько больше или меньше. Каждый доставлял ежемесячно один медимн муки, восемь мер вина, пять фунтов сыру, два с половиной фунта смоквы и весьма немного денег для покупки мяса. Сверх того, кто приносил богам начатки плодов или был счастлив на охоте, посылал всегда часть жертвы или дичи к общественному столу. Позволено было ужинать дома тому, кто приносил жертву или возвращался поздно с охоты; впрочем, другим надлежало быть при его ужине. Это установление общественных столов существовало долгое время. Царь Агис, возвратившись из похода по одержании победы над афинянами, желая ужинать у своей супруги, послал просить свою часть* от общественного стола; полемархи* ему отказали. Агис, будучи этим раздражен, не принес на другой день обыкновенной благодарственной жертвы. За это они наложили на него пеню.

К общественным столам приходили и дети – как бы в школу мудрости и воздержания*. Они слушали там разговоры о правлении, видели свободных наставников*, научались шутить, осмеивать без грубости и не сердиться за шутки. Сносить равнодушно насмешки почиталось свойством, достойным лакедемонянина; когда же осмеиваемый не мог снести насмешек, то просил перестать, и насмехавшийся тотчас переставал. При входе каждого в столовую старший, показывая ему на двери, говорил: «Ни одно слово не выходит ими». Когда кто хотел быть участником стола, то узнавали мысли сотоварищей следующим образом: каждый из них брал в руку из хлеба шарик* и, не говоря ничего, бросал его в сосуд, который нес на голове служитель. Соглашающийся на принятие нового товарища бросал шарик, не изменяя его вида, а несоглашающийся сжимал его пальцами. Это было знаком осуждения или отвержения. Если один шарик находили сжатым, то не принимали просящего, ибо хотели, чтобы все были взаимно довольными между собой. Отвержение такого рода выражаемо было особенным словом – от имени сосуда, в который бросали шарики и который назывался «каддихос».

Лучшим кушаньем у них почиталась так называемая черная похлебка. Старики оставляли молодым мясо и ели сию похлебку, сидя все на одной стороне. Говорят, что один из пон-

тийских царей* купил для изготовления этой похлебки повара – лакедемонянина; но, отведав, оказал свое неудовольствие повару, который сказал ему: «Государь! Должно есть это кушанье не прежде, как искупавшись в Эвроте».

По окончании умеренного стола все возвращаются домой без свечек. Ни в каком случае не позволялось ходить с огнем, дабы приучались ночью впотьмах ходить смело и безбоязненно. Таков-то был порядок их столов!

Ликург не оставил письменно ни одного закона. Это определено одной из так называемых его ретр, или словесных постановлений. По его мнению, то, что всего выше и важнее, что более всего способствует благоденствию гражданства и приобретению добродетели, тогда бывает постоянно и непоколебимо, когда основано и впечатлено во нравах и образе жизни граждан. Узами, сильнейшими самой необходимости, почитал он волю, которую в молодых людях производит воспитание и которая в них имеет силу законодателя. Что касается до мало-важных и к собственности относящихся условий, которые всегда переменяются по нужде, не рассудил он постановлений и ограничился неизменными обрядами. Он оставил на произвол мудрым прибавлять к ним или убавлять по временам то, что найдут полезным. Главной целью его законодательства было воспитание, и потому, как сказано выше, одной ретрой запрещалось иметь написанные законы.

Другая ретра сделана им в рассуждении роскоши; в ней предписывалось, чтобы потолок каждого дома был сделан одним топором, а двери пилой, без помощи других орудий. Эпаминонд сказал в позднейшее время о своем столе: такой обед не может вместить измены. Ликург задолго до него думал, что такой дом не может вместить неги и великолепия. В самом деле, кто столь необразован и безрассуден, чтобы в дом простой и бедный захотел внести ложе с серебряными ножками, пурпуровые ковры, золотые чаши и все следующее за этим великолепие? Нужно, чтобы дому соответствовало ложе, ложу – ковры и завесы, а им – вся прочая обстановка. Эта привычка заставила древнего Леотихида*, который, ужиная в Коринфе, смотрел на потолок дома, обделанный с искусством и великолепием, спросить хозяина: «Неужели деревья в земле вашей растут четырехугольные?»

Третья Ликургова ретра запрещала часто воевать с одними и теми же неприятелями, дабы они, приучаясь часто обороняться, не сделались от того воинственными. Впоследствии упрекали царя Агесилая более всего тем, что он частыми походами и нападениями на Беотию соделал фиванцев в военном искусстве столько же опытными, сколько опытны сами лакедемоняне. Анталкид, увидевши, что он ранен в сражении с ними, сказал ему: «Прекрасно платят тебе фиванцы за то, что ты научил их воевать тогда, как они не хотели и не умели». Ликург назвал узаконения эти ретрами*, как будто бы они были изречения прорицалища, утвержденные богами.

Почитая воспитание главнейшим и славнейшим делом законодателя, Ликург начал оно с самых оснований. Он обратил внимание на браки и рождение детей. Не должно верить Аристотелю, который пишет, что Ликург хотел исправить женщин, но оставил свое предприятие, не будучи в состоянии укротить их вольности и власти над мужьями, которые по причине частых походов принуждены были давать им полную волю, оказывать более уважения, нежели сколько должно, и называть их государынями*. Вопреки этому Ликург имел и о них надлежащее попечение. Тела девиц укреплял он беганьем, борьбой, метанием диска и копий, дабы зарождающийся в них плод, будучи при самом начале крепким в теле крепком и здоровом, возрастал с большею силой и дабы они, по причине телесной твердости, легче и безопаснее рождали. Он изгнал женскую изнеженность и утонченность в образе жизни и приучал девиц, по примеру отроков, быть нагими в известных торжественных ходах, также на некоторых празднествах, в этом виде плясать и петь песни в присутствии юношей. Нередко девы шутками с пользой язвили преступавших свою должность. Достойных юношей превозносили в песнях похвалами и сим возбуждали в них честолюбие и соревнование. Воспетый за свою доблесть и сделавшийся

славным в кругу девиц, возвращаясь домой, гордился такими почестями. Колкость шуток и насмешек была столь же действительной для других, как самые важные наставления, тем более что это случалось в присутствии всех граждан, геронтов и царей. Нагота девиц не имела в себе ничего неблагопристойного; стыдливость сопровождала их всюду*; невоздержание в Спарте было неизвестно. Нагота эта приучала их к простоте, рождала в них желание соделать свое тело гибким и крепким и позволяла слабейшему полу участвовать в мужестве и величии духа, ибо женщины не менее мужчин способны к приобретению доблести и славы. Это-то мужественное воспитание рождало в них те высокие мысли и речи, которые обнаруживаются в ответах Торга, жены Леонида. Одна иностранка сказала ей: «Вы, лакедемонянки, одни повелеваете мужьями». – «Ибо мы одни рожаем мужей», – она ответствовала.

Шествие дев, нагота, борьба в присутствии юношей, привлекаемых, по словам Платона, необходимостью эротической, а не геометрической* – все это было побуждением к браку. Сверх того Ликург подверг неженатых известному поношению. Им было запрещено быть зрителями при гимнопедиях (борьба между нагими девицами). В холодное время правители заставляли их ходить нагими вокруг площади. Они ходили и пели сочиненные для этого случая песни, в которых изъясняли, что достойно наказываются за неисполнение законов. Их лишали уважения, оказываемого молодыми людьми старшим. По этой причине никто не порицал грубости, сделанной Деркиллиду, хотя, впрочем, славному полководцу. При входе его в Собрание какой-то юноша не хотел уступить ему места, говоря: «Ты еще никого не родил, кто бы мог и мне уступить некогда место»*.

Лакедемоняне похищали невест для себя не малолетних и не зрелых, но бывших в полном и совершенном возрасте. Невесту принимала так называемая подружка, или приставленная к браку женщина, которая стригла у ней коротко волосы, одевала и обувала по-мужскому и клала одну в темном месте на соломенный коврик. Новобрачный, не будучи ни пьяным, ни ослабленным негой, но, по обыкновению, трезв, как человек, ужинавший за общественным столом, пришедши к ней, развязывал пояс и переносил ее на постель. Пробыв с нею немного времени, скромно возвращался к молодым людям, дабы провести с ними ночь по-прежнему. Таким образом, он проводил обыкновенно дни и ночи со своими товарищами, а к жене ходил с великой осторожностью и стыдливостью, опасаясь, дабы кто-нибудь это не приметил. Новобрачная с своей стороны ухищрялась и выдумывала всякие средства иметь тайно свидание с мужем. Это продолжалось немалое время. Случалось, что некоторые приживали детей, не выдавши ни однажды днем жен своих. Такие свидания не только приучали их к воздержанию и целомудрию, но способствовали плодородию и сохраняли всегда новую и живую их страсть, ибо они никогда не пресыщались и не утомлялись невоздержанным и беспрестанным между собой сообщением, а, расставаясь, всегда питали пылающий огонь взаимной любви и вожделения.

Вводя такую скромность и такой порядок в рассуждении браков, Ликург истребил также пустую и женам одним приличную ревность. Он почел нужным удалить от браков насилие и беспорядок и произвести то, чтобы достойные граждане могли родить детей общих. Он смеялся над теми, кто почитает брак как собственность, не терпящую разделения, и мстят войной и кровопролитием. Ежели старику, у которого была молодая жена, нравился храбрый, прекрасный юноша, то он мог его ввести к ней в опочивальню и признать своим младенца, от такого сообщения рожденного. С другой стороны, человек благородный, полюбив чужую жену, целомудренную и рождающую прекрасных детей, мог убедить ее мужа уступить ему права свои на получение от нее – как от плодородного поля плодов прекрасных – детей здоровых и добрых, которые были бы единокровны с другими столь же хорошими и здоровыми детьми. Ликург думал, что дети принадлежат обществу, а не родителям. По этой причине он желал, чтобы его граждане происходили от лучших, а не от каких-либо случайных людей. Ему казались глупыми и странными постановления других законодателей, которые, не щадя ни денег, ни забот, для

заведения хороших псов и коней достают лучших жеребцов и кобелей, а женщин запирают и стерегут в домах, требуя, чтобы они от одних рождали детей, хотя бы они были глупы, дряхлы, нездоровы; как будто слабые дети, происшедшие от слабых родителей, не причиняют неудовольствия более всего тем, кто имеет их и воспитывает, а получившие от крепких здоровое и крепкое сложение тела не составляют их радости. Эти введенные Ликургом обычаи, согласные с природой и гражданским постановлением, столь далеки были от своеволия, которым упрекали спартанок впоследствии, что прелюбодейство было у них неслыханное дело. Всем известен ответ одного древнего спартанца по имени Герад. Некий чужестранец спросил его: «Какому наказанию подвержены в Спарте прелюбодеи?» – «У нас нет их!» – отвечал ему Герад. «Но если найдется кто?» – продолжал чужестранец. «Тот, – сказал Герад, – должен поставить в наказание вола, который бы, протянувши с вершины Таигета* шею, мог напиться воды в Эвроте». Чужестранец, удивляясь этому, спросил: «Как найти вола такой величины?» Герад, улыбаясь, сказал: «Как же найти и в Спарте прелюбодея?» Вот что рассказывают о браках спартанских!

Родители не имели власти воспитывать детей своих. Отец приносил младенца вскоре по рождении на место, именуемое «лесха», где сидели всех колен старейшины, которые его тут осматривали. Если находили его крепкими и здоровым, то приказывали кормить и уделяли ему одну из десяти тысяч частей земли. Если же он был слаб и безобразен, то отсылали его в так называемые Апофеты, место, исполненное пропастей, близ Таигета. Они думали, что родившийся слабым и нездоровым не может быть полезным ни себе, ни обществу. По этой причине женщины омывали новорожденного в вине, а не в воде, некоторым образом испытывая этим его сложение. Говорят, что дети слабые и подверженные падучим болезням от цельного вина еще больше слабеют и погибают; напротив того, крепкие и здоровые получают от сего более твердости и сложение их укрепляется. Кормилицы употребляли великое старание и искусство на то, чтобы воспитывать детей не пеленавши, дабы их члены и их вид сделать свободными. Приучали их также не бояться темноты или уединения, не иметь низкого своенравия и не быть плаксивыми. Это заставляло иностранцев покупать кормилиц в Лакедемонне. Алкивиадова кормилица по имени Амикла была лакедемонянка, но Зопир, его наставник, избранный Периклом, по свидетельству Платона, был раб, ничем от других не отличный*. Ликург препоручал детей спартанцев наставникам не наемным и не купленным. Никому не позволялось по собственному желанию воспитывать сына своего. Как скоро мальчики достигали семи лет, он брал их, разделял по агелам (отрядам) или заставлял повиноваться общим законам, питаться общим кушаньем; приучал их вместе играть и учиться. Превосходивший других умом и оказавший более мужества в битвах был избираем в начальника агелы. Все изъявляли ему почтение, слушались его, принимали с терпением его наказания, так что лакедемонское воспитание состояло в том, чтобы научиться повиновению. Старцы смотрели на игры детей; часто возжигали нарочно между ними ссоры и раздор, дабы тем самым узнать каждого свойство и видеть, имеет ли он столько духа, чтобы мог противостоять неприятелям и не избегать опасностей в битвах.

Наукам учились они столько, сколько им было нужно. Все их учение клонилось к тому, чтобы быть послушными, сносить труды, побеждать в сражениях. По мере возраста образ учения их становился суровее; волосы у них стригли до самой кожи, приучали ходить без обуви, заставляли играть нагих. На тринадцатом году снимали с них хитон* и давали им один плащ на целый год. Они были нечисты, не пользовались банями, не мазались маслом; только немного раз в году позволяли им это удовольствие. Они ложились все, разделясь на илы и агелы, на циновках, сделанных их собственными руками из тростника, растущего на Эвроте. Они должны были ломать его без ножа. Зимой подстилали под себя так называемые ликофоны* и смешивали с тростником. Они думали, что это растение содержит в себе некоторое тепло.

По вступлении в этот возраст отличные из них имели своих любителей. Старейшие при-
сматривали за их поступками еще более; часто ходили в гимнасий (место, где упражнялись

в борьбе); надзирали над упражнениями; слушали, как они друг друга язвили острыми словами, не мимоходом и для препровождения времени, но почитая обязанностью быть отцами, наставниками, начальниками всех и каждого. Таким образом, дети никогда и нигде не оставались одни, без такого человека, который бы мог исправить и наказать преступившего свою должность. Приставляли к ним еще особого начальника, называвшегося педоном, из числа добродетельнейших мужей. Во всякой агеле избирали сами мужественнейшего и благоразумнейшего из иренов; этим именем называют спартанцы тех, кому минуло два года по выходе из отрочества; меллиренами же – «будущими иренами» – называли старших среди отроков. Ирен этот в двадцать лет начальствует в битвах своею дружиной; дома же употребляет он своих подчиненных как слуг – для изготовления ужина, старшим приказывает носить дрова, а младшим зелень. Одни уносят все это тайно из садов; другие от стола мужей, к которому подкрадываются с великой хитростью и осторожностью. Кто из них бывал пойман, того больно секли бичом за то, что крал неискусно и неprovорно. Также уносили они всякие другие кушанья и научались искусно нападать на спящих или нерадиво стерегущих. Пойманных наказывали побоями и лишали стола. Ужин их был всегда недостаточен для того, чтобы они сами находили способы удовлетворять своим нуждам и таким образом привыкали к смелости и проворству. Вот главная причина, для которой давали им мало пищи! Другая причина та, чтобы они лучше росли. Жизненные духи, не будучи удерживаемы и отвлекаемы множеством пищи, которая своей тяжестью давит их вниз или заставляет идти в ширину, стремятся вверх своею легкостью, отчего тело поднимается свободно, беспрепятственно и растет в длину*. Это самое способствует красоте тела, ибо тела тонкие и сухие удобнее уступают действию природы, нежели тучные и жирные, которые ей сопротивляются своей тяжестью. Так дети, рожденные от матерей, очищенных во время беременности слабительными, бывают худы, однако красивы и приятны, ибо на легкое вещество сильнее действует образующая сила. Исследовать причину этого предоставляем другим.

Отроки крадут с великой осторожностью. Рассказывают, что один из них, укравши молодую лисицу, спрятал ее под одежду; зверь рвал у него брюхо зубами и когтями; но, дабы не быть замеченным, он переносил жестокую боль до того, что упал мертвым на месте. Этого не должно считать невероятным, судя по нынешним отрокам, ибо мы видели много в Спарте детей, умирающих под ударами на жертвеннике Артемиды, прозванной Орфией*.

После ужина ирен, лежа, одному из детей повелевает спеть песню; другому предлагает вопрос, требующий рассудительного ответа, как, например, «кто добродетельнее всех в городе?» или «как ты думаешь о таком-то деле?». Таким образом заранее учатся они судить о добродетелях и узнавать граждан. Если отрок при вопросе, кто, по его мнению, лучший гражданин, кто худший, медлил отвечать, то это почитали знаком души ленивой и к добродетели несклонной. Надлежало в ответе заключаться причине и доказательству в кратких словах. У отвечавшего неправильно ирен кусал в наказание большой палец руки. Нередко в присутствии старейшин и правителей ирен наказывал отроков, дабы показать, справедливо ли и так ли, как должно, он их наказывает. Ему не препятствовали наказывать. Но коль скоро дети уходили, то подвергали его самого наказанию, если обнаруживалось, что он наказывал слишком строго или слишком слабо.

Любители отроков участвовали в славе или бесчестии того, кого они любили. Когда во время борьбы один отрок издал крик, означавший робость, правители наложили пеню на его любителя. Эта любовь между ними была в таком уважении, что добродетельные женщины любили девиц. Она не рождала ревности; напротив того, любовь к одной и той же особе была началом дружбы между соперниками, которые, объединившись, старались сделать любимым объект лучше и добродетельнее.

Притом научали детей употреблять речи, имеющие колкость, соединенную с приятностью, и содержащие глубокий смысл в кратких словах. Ликург хотел, чтобы железная монета

была тяжела и вместе малоценна; напротив того, чтобы монета речи в немногих и простых словах заключала сильную и важную мысль. Приучая детей к молчанию, производил он то, что их ответы были остры и разумны. Как развращенные и невоздержанные люди не способны к браку и бесплодны, так речи необузданного языка пусты и безрассудны. Один афинянин, смеясь над короткими лакедемонскими мечами, говорил, что чудодеи удобно глотают их на театре. «Однако, – отвечал царь Агис, – этими-то мечами настигаем неприятелей». По моему мнению, лакедемонская речь, при всей своей краткости, весьма удачно достигает своей цели и действует на сердца слушателей.

Сам Ликург, кажется, был весьма остр и краток в речах, если судить по достопамятным его изречениям. Таков следующий ответ его о правлении: некто советовал ему в Спарте учредить народоправление. «Учреди оное прежде сам в своем доме», – сказал Ликург. Когда спрашивали его, для чего установил он столь бедные и малоценные жертвы, он отвечал: «Дабы мы никогда не переставали чтить богов». О состязаниях он говорил: «Я не запретил подвизаться в тех видах борьбы, в которых рук не протягивают»*. Сохранились и письменные его ответы своим гражданам. На вопрос: «Как отклонить нам нападение неприятелей?» отвечал: «Если останетесь бедными и никто не пожелает иметь более другого». О городских стенах он писал: «Не без стен город, ограждаемый мужами, а не кирпичами». Впрочем, этих писем нельзя ни принять, ни отвергнуть.

А что спартанцы не любили длинных речей, то видно из их достопамятных изречений. Некто совсем некстати говорил о немаловажных делах; царь Леонид ему сказал: «Друг мой! Ты не употребляешь должного, когда должно». Спрашивали Харилая, Ликургова племянника, для чего Ликург постановил столь мало законов. «Употребляющие мало слов не имеют нужды во многих законах», – сказал Харилай. Некоторые порицали софиста Гекатея за то, что он, бывши за общественным столом, не сказал ни одного слова во весь ужин. Архидамид сказал: «Кто умеет говорить, тот знает и время, в которое должно говорить».

Я сказал, что не без приятности даже колкие их ответы; таковы суть следующие. Один дурных свойств человек беспокоил Демарата* докучливыми вопросами. Он несколько раз спрашивал у него: «Кто лучший из спартанцев?» «Кто меньше всех на тебя походит», – отвечал Демарат. Некоторые хвалили илиян за то, что они хорошо и справедливо судят об Олимпийских играх. «Что тут удивительного, – сказал Агис, – если илияне в четыре года один день оказывают справедливость?» Один чужестранец, желая доказать свое усердие к Феопомпу, говорил ему, что соотечественники его называют филолаконом (любителем лакедемонян). «Друг мой! Лучше бы они называли тебя филополитом (любящим сограждан)», – сказал ему Феопомп. Плистоанакт, сын Павсания, сказал некоему афинскому оратору, называвшему лакедемонян неучеными: «Это правда – мы одни из греков ничему дурному у вас не научились». Некто спрашивал у Архидамида: «Сколько всего лакедемонян?» «Столько, – отвечал он, – что можем отражать злых». Из самых шуток можно видеть, что они не приучались никогда употреблять бесполезных речей, ни издавать голоса, не имеющего смысла, но достойного замечания. Одного звали послушать человека, подражающего голосом соловья: «Я слышал самого соловья», – отвечал он. Некто, прочитавши надгробную надпись: «Храбрые мужи, погасившие тиранию в отечестве своем, были жертвой Ареса и погибли перед вратами Селинунта*», заметил: «Достойно они погибли! Надлежало бы дать тирании всей стгореть, а не гасить ее». Некто обещал дать молодому человеку петухов, умирающих во время драки. «На что мне они? – отвечал он. – Дай мне лучше убивающих во время драки». Другой, увидевши людей в носилках, сказал: «Да не попустят боги сидеть мне на таком месте, с которого нельзя встать перед старшим!» Таковы были их изречения! Не без причины говорят некоторые, что можно более подражать лакедемонянам любомудрием, нежели телесными упражнениями.

Искусство сочинять стихи и песни столь же важно было при воспитании, как сила и чистота речей. Их песни исполнены были огня, воспламеняющего души, приводящего в вос-

торг и устремляющего к великим подвигам. Слог их был прост, силен, приличен важным и наставительным предметам. Вообще песни эти содержали похвалу умершим в боях за Спарту, которых почитали блаженными, или порицания робким, как провождающим жизнь злополучную и горестную. Некоторые содержали обещание и удостоверение в доблести, так как было прилично каждому возрасту. Небесполезно будет привести одну из этих песен для примера. Во время празднеств составляемы были три хора из трех возрастов. Хор старцев начинал петь таким образом:

Отважны воины во младости мы были.

Хор юношей отвечал:

Теперь мы таковы, коль хочешь, испытай.

Хор отроков продолжал:

А мы со временем храбрее всех вас будем.

Вообще если рачительно рассмотреть лаконические стихотворения, из которых некоторые дошли до нас, и обратить внимание на походный голос, наигрываемый свирелью при нападении на неприятеля, то увидишь, что не напрасно Терпандр и Пиндар* сопрягали музыку с мужеством. Первый из сих стихотворцев говорит о Спарте:

Там юноши цветут, копьем своим ужасны;
Там мусийские орудия согласны;
Там справедливости превознесен престол.

Пиндар же пишет:

Советы старцев тамо мудрых;
Там храбрых юношей мечи;
Там хоры, пения и пляски,
Забавы, радости цветут.

Таким образом, оба стихотворца доказывают, что лакедемоняне были воинственны и весьма склонны к музыке. Лакедемонский же стихотворец говорит*:

Прилично ратнику играть на лире стройно.

Перед сражениями цари всегда приносили жертву Музам в намерении, по-видимому, напомнить воинам данное воспитание и отечественные законы, дабы они готовили себя ко всем опасностям и к знаменитым подвигам.

В подобных случаях они умеряли обыкновенную строгость, позволяя молодым людям убирать волосы, украшаться оружием и разным платьем; им приятно было смотреть на этих юношей, подобных коням, исполненным жара и стремящимся к бою. Хотя молодые люди при выходе из детства старались о своих волосах; но в день сражения еще более их убирали, разделяли и умащали, помня Ликурговы слова: «Прекрасных делают волосы еще более любезными, а безобразных более страшными». В продолжение походов упражнения их были легче обыкновенных и самый образ жизни не был ни столько суров, ни столько подвержен взысканию, как

в мирное время. Почему в целом свете одни спартанцы могли почитать войну отдохновением после военного учения.

Когда полки стояли в боевом порядке в виду неприятелей, тогда царь приносил в жертву козу и в то же время повелевал воинам надевать на голову венки, сплетенные из цветов, а свирельщикам играть Каstorову песню*. Сам одновременно начинал петь походный пеан. Зрелище важное и купно ужасное! Воины шли без душевного смущения, при звуке свирелей, не расстраивая рядов. Они кротко и с веселыми лицами приближались к опасностям с пением. Люди с такими расположениями должны были быть свободны от страха и излишнего гнева. Мужество, питаемое надеждой и смелостью, сопутствовало им, подобно некоему божеству. Царь шел против неприятелей, имея всегда при себе увенчанного на торжественных всенародных играх победителя. Говорят, что одному борцу предлагаемо было на Олимпийских играх великое количество денег с тем, чтобы он не вступал в борьбу. Этот отверг деньги и с великим трудом низложил своего противника, который ему сказал: «Какая для тебя выгода, лакон, от этой победы?» – «Находясь в строю перед царем, – отвечал он, – буду сражаться с неприятелями».

Победивши и обративши в бегство врагов, преследовали их столько, сколько нужно было для утверждения за собой победы; потом отступали, думая, что ни славно, ни достойно греческого народа поражать и убивать людей, уступающих и бегущих. Это было не только похвально и великодушно, но и полезно. Неприятели их, зная, что одних противостоящих им побивали, уступающих же щадили, предпочитали бегство упорному сопротивлению.

Софист Гиппий уверяет, что Ликург был человек самый воинственный и весьма опытный полководец*. Филостефан* приписывает Ликургу разделение конницы на уламы. Улам, по его описанию, состоит из пятидесяти конных воинов, устроенных четвероугольником. Напротив того, Димитрий Фалерский уверяет, что Ликург никогда не вел никакой войны и что устроил правление в самое мирное время. Мысль установить перемирие на то время, в которое бывают Олимпийские игры, показывает в нем человека кроткого и расположенного к спокойствию. По Гермиппову свидетельству, некоторые пишут, что Ликург сначала не участвовал в предприятиях Ифита, но, бывши в Олимпии зрителем, услышал за собой голос – как бы человека, изъясняющего удивление и укоряющего его тем, что он не побуждал граждан своих участвовать в этом торжественном собрании. Он оборотился, но, не видя никого, почел этот голос божественным и для того присоединился к Ифиту, учреждал с ними обряды и сделал торжество блистательнейшим и прочнейшим.

Воспитание лакедемонян продолжалось до взрослых лет. Никому не позволялось жить так, как хотелось. Находясь в городе, как бы среди военного стана, они вели определенный образ жизни, занимались общественными делами и были уверены, что принадлежат обществу, а не себе. Когда не имели других предписаний от начальства, тогда они смотрели за поведением детей, учили их чему-нибудь полезному или сами учились в кругу старейших. Одно из лучших и величайших благ, доставленных Ликургом спартанцам, было изобилие праздности; им не позволялось заниматься никаким ремеслом. Приобретение богатства, столь трудное и соединенное с такими заботами, было для них бесполезно, ибо деньги были не нужны и презрительны. Землю возделывали илоты, платя определенную подать. Некоторый лакедемонянин был в Афинах во время судопроизводства. Узнав, что один афинянин, осужденный на пеню за праздность, с печалью возвращался домой в сопровождении своих приятелей, соболезновавших о его несчастье и изъяснявших неудовольствие, он просил присутствующих показать ему человека, осужденного за столь благородный образ жизни. Столько-то почитали спартанцы низким заниматься ремеслами и работать для приобретения денег!

С деньгами вместе изгнаны и тяжбы. Не было ни богатства, ни бедности там, где все имели равный достаток; где по причине умеренности и простого образа жизни легко было удовлетворить своим нуждам. Пляски, пиршества, забавы, празднества, ловли зверей, телесные

упражнения, беседы во всякое время занимали их, если они не были в походе. Младшие из них, которым еще не было тридцати лет, не приходили на площадь, но посредством родственников и приверженных к ним исправляли все домашние дела. Старейшие стыдились часто этим заниматься; большую часть дня проводили они в гимназиях и в так называемых «лесхах», или беседах. Собираясь сюда, они с удовольствием проводили время в разговорах между собой, не упоминая никогда ни о способах обогатиться, ни о делах торговых. Главное их занятие состояло в том, чтобы хвалить прекрасное или хулить дурное в шутках и смехе, служившем неприметным образом к наставлению и исправлению. Ликург сам не совершенно был суров. По свидетельству Сосибия*, он посвятил маленький кумир Смеху; он ввел в надлежащее время шутки в разные собрания и столы как приправу кушанья и тяжких их трудов.

Вообще приучил он сограждан своих не желать и не уметь жить честно; но, подобно пчелам, иметь в виду всегда лишь общество, беспрестанно виться вокруг своих начальников; быть как бы вне себя от восторга и любви к славе и всем принадлежать отечеству. Некоторые слова их обнаруживают таковое чувство. Педарит не был избран в число трехсот мужей*. Домой возвратился он с чувством радости от той мысли, что в отечестве триста человек лучше его. Полистратид, отправленный посланником вместе с другими к полководцам царя персидского, на вопрос, сами ли собой прибыли или посланы республикой, отвечал: «Если успеем, то присланы республикой; если же нет, то прибыли сами». Брасидова мать Аргилеонида спрашивала у неких, прибывших к ней амфиполитян, славно ли и достойно ли Спарты умер Брасид*. Они начали превозносить его дела и прибавили: «Нет подобного ему в Спарте!» – «Не говорите этого, друзья мои, – сказала она. – Правда, что Брасид был добродетелен и мужествен, но в Лакедемонe много лучше его».

Ликург, как выше сказано, составил сперва совет геронтов из мужей, участвовавших в его предприятии. Впоследствии он определил, чтобы место умершего заступал гражданин, почитаемый добродетельнейшим из числа тех, кому было более шестидесяти лет. Достижение сего достоинства почиталось величайшим в свете подвигом и высшей степенью славы. Надлежало показать себя не скорейшим среди скорых, не сильнейшим среди сильных, но добродетельнейшим и благоразумнейшим из добродетельных и благоразумных граждан и в награду за добродетель целой жизни приобрести, так сказать, всю силу республики, власть над жизнью и честью – одним словом, над тем, что всего в свете выше и дороже. Избрание геронта происходило следующим образом: народ собирался на площадь; некоторые избранные мужи были запираемы в ближайший дом, из которого нельзя ни видеть, ни быть видимым, но только можно слышать крик, издаваемый собранным народом. Народ при этом случае, равно как при других, криком изъявлял свое согласие. Назначенные к выбору в глубоком молчании проходили Собрание не все вместе, но один после другого, как по жребию доставалось. Запертые держали таблицы, на которых замечали, сколь велик был шум, не зная, однако же, кого он касался. Они замечали только порядок, по которому каждый из них был введен в Собрание, как-то: первый, второй, третий и так далее. Тот, в чью пользу восклицания были самые громкие и многочисленные, был избираем в геронты. Он надевал на голову венок из цветов, ходил в храмы богов в сопровождении великого множества юношей, его прославляющих, и женщин, превозносящих его добродетели в песнях и благословляющих жизнь его. Каждый из его родственников приглашал его к ужину, говоря: «Город чтит тебя этим столом». После этих пиршеств шел он к общественному столу, где все происходило по обыкновению. Он оставлял у себя вторую долю кушанья, при этом случае даваемую. Когда его родственницы приходили к дверям, то, призвавши из них ту, которую он более всех почитал, отдавал эту часть, говоря: «Я даю тебе долю, полученную мной в знак отличия». Другие женщины прославляли и провожали ее с честью до самого дома.

Ликург учредил все, касающееся до погребения, с великим благоразумием. Во-первых, для истребления суеверия не запретил погребать мертвых в городе и воздвигать памятников близ храмов. Он хотел, чтобы молодые люди имели беспрестанно эти зрелища перед глазами,

привыкали бы к ним, не смущались и не страшились смерти, не верили бы тому, будто прикасающиеся к мертвому телу или проходящие мимо гробниц оскверняются. Он не позволил чего-либо погребать вместе с мертвым, но повелел обвертывать его красным покрывалом и масляными листьями*. На гробницах позволялось надписывать только имена мужей, убиенных в сражениях, и священных жен. Он сократил время плача, назначив для сего только одиннадцатый день. В двенадцатый день, по принесении жертвы Деметре, надлежало положить конец сетованию. Ничего не оставил он праздным и без пользы. Похвала за добродетель или презрение за порок всегда сопровождали граждан во всех важнейших случаях жизни. Город наполнен был великим множеством образцов. Воспитанные среди них и всегда имеющие их перед своими глазами должны были необходимо быть обращены и влекомы к добродетели.

По этой причине Ликург не позволил всякому выезжать из своего отечества, бродить по разным странам, перенимать чужие обычаи, подражать необразованным нравам и различным родам правления. Он выгонял из города чужестранцев, без пользы приезжающих*, не для того, как думает Фукидид, чтобы они не стали подражать его правлению или перенимать что-либо полезное и к добродетели ведущее, но единственно для того, дабы они не научили сограждан его чему-нибудь дурному. Нельзя сомневаться, чтобы вместе с иностранцами не входили в город иностранные речи. Новые речи вводят новые суждения*, рождающие многие страсти и прихоти, противные установленному правлению, которые, подобно разногласным в музыке звукам, разрушают согласие оногo. По этой причине Ликург думал, что более должно предохранять город от испорченных нравов, нежели от зараженных тел, извне в оный входящих.

Во всех этих распоряжениях нет ни малейшего следа несправедливости и властолюбия, в которых многие упрекают Ликурговы законы, говоря, что они могут вдыхать мужество, но бессильны приводить к справедливости. Одна так называемая у лакедемонян криптия (если такое постановление должно приписать Ликургу, как уверяет Аристотель), могла подать столь худое понятие Платону о Ликурге и его законах*. Криптия состояла в следующем: начальники посылали по временам в разные стороны области разумнейших из молодых людей, которые брали с собой только кинжалы и съестные припасы. Рассеявшись по разным местам, во время дня скрывались и покоились. При наступлении ночи выбегали на большие дороги и поражали илотов, им попадающихся; нередко, ходя по полям, убивали из них сильнейших и храбрейших. Так Фукидид в «Истории Пелопоннесской войны» повествует, что лакедемоняне отличившимся храбростью илотам дали свободу, украсили их венками и водили в храмы богов; но вскоре после того все они, числом более двух тысяч человек, исчезли. Ни тогда, ни после никто не знал, каким образом они погибли. Аристотель в особенности уверяет, что эфоры в начале правления своего объявляют войну илотам, дабы убийство их не почиталось незаконным. Вообще поступали с ними весьма сурово и жестоко. Заставляли их более надлежащего пить вина, приводили к общественным столам и показывали юношам, сколь постыдно пьянство. Приказывали им петь песни и плясать позорным и смешным образом, но запрещали петь и плясать так, как прилично свободным людям. Повествуют, что долгое время спустя после Ликурга фиванцы в походе своем в Лаконию заставляли пойманных илотов петь песни Терпандра, Алкмана и Спендонта; они отговаривались тем, что им запрещено это их господами. Кажется, хорошо понимают различие состояний те, которые говорят, что в Спарте свободные весьма свободны, а невольники весьма невольны. Я думаю, что спартанцы сделались столько свирепыми после великого землетрясения*, во время которого илоты напали на них с мессенцами; разоряли область и довели город до величайшей опасности. Я никогда не припишу Ликургу столь нечестивого постановления, как криптия, составивши себе понятие о его свойствах, самим божеством засвидетельствованных.

Главнейшие законы его уже напечатаны были во нравах сограждан, образ правления довольно укрепился и мог держаться сам собою. Как бог, по выражению Платона, возвеселился, видя созданный им мир и первое его движение, – так Ликург возрадовался и возлюбил

красоту и величие своего законодательства, которое уже приведено было в действие и шло само собой. Он пожелал соделать оное вечным и незыблемым в будущем, сколько это от человеческого благоразумия зависело. Собрав народ, он говорил ему, что все прочее, кажется, так установлено, что может способствовать их благополучию и добродетели; но то, что всего важнее и выше, откроет им, когда и как спросить о этом богов; что должно им исполнять непременно постановленные законы и ничего не переменять, доколе он не возвратится из Дельф; по возвращении же исполнить то, что бог ему повелит. Все на то согласились и просили его предпринять это путешествие. Цари, геронты и весь народ поклялись свято хранить установленный им образ правления, доколе он не возвратится.

По прибытии в Дельфы принес он жертву Аполлону и спросил сего бога, способны ли и достаточны ли его законы учинить спартанцев благополучными и добродетельными. Прорицалище ответствовало, что законы его хороши и Спарта, их исполняя, пребудет славнейшим городом. Ликург написал этот ответ и послал в Спарту. Потом принес вновь богу жертву, обнял друзей и сына и решился, не освобождая граждан от данной ему присяги, окончить добровольно жизнь свою, достигнув уже тех лет*, в коих жить или умереть – все равно, в особенности когда в делах своих был он довольно счастлив. Он умер, воздержавшись от пищи, будучи уверен, что и самая смерть великих политиков не должна быть без особенной цели, без некоторого действия, но соединена с пользой и услугой обществу. Он думал, что смерть в отношении к нему, после прекраснейших дел, была действительно довершением его блаженства; в отношении же к согражданам, поклявшимся следовать его законам до его возвращения, – утверждением тех великих благ, которых был он виновником в продолжении всей жизни своей. Он не обманулся в своем чаянии. Спарта, исполняя их в течение пятисот лет, первенствовала в Греции славой и благоустройством. В продолжение правления четырнадцати царей после него до Агиса, сына Архидамы, никто не сделал в них ни малейшей перемены. Учреждение эфоров не только не ослабило, но, напротив того, придало более твердости учрежденному Ликургом правлению. Хотя, по-видимому, эфоры постановлены были в пользу народа, однако они более усилили аристократию. Но в царствование Агисова в первый раз наводнили Спарту деньги; с ними вместе – любостяжание и страсть к богатству. Деньги введены были Лисандром, который, не быв сам побежден и развращен ими, наполнил город сребролюбием и негой*. Он привез после войны большое количество золота и серебра, чем ниспроверг

Ликурговы законы. Доколе они во всей силе своей существовали, Спарта представляла не только картину благоустроенного правления, но образ жизни мудрого и добродетельного человека; или, лучше сказать, как Геракл, по описанию стихотворцев, покрытый львиной шкурою и с палицей в руках, проходил вселенную, наказывая незаконных и свирепых тираннов, так Лакедемон с помощью скиталы* и епанчи управлял Грецией, добровольно ей покорившейся, ниспровергал насильственные власти и тираннию в обществах, прекращал войну, укрощал раздоры – часто без помощи, посредством одного посланника. Все повиновались ему, и, подобно пчелам при появлении их царицы, все стекались к нему и наблюдали порядок. Вот какое почтение вдыхали во всех благоустройство и справедливость Спарты!

Я удивляюсь тем, кто мог сказать, будто лакедемоняне умели повиноваться, но не умели управлять и хвалить слова царя Феопомпа. Некто сказал перед ним, что Лакедемон обязан своим спасением царям, умеющим повелевать. «Скажи лучше, гражданам своим, умеющим повиноваться», – отвечал Феопомп. Люди не повинуются тем, кто не умеет повелевать. Начальник учит послушанию. Кто хорошо предводительствует, тот заставит следовать за собой. Совершенство искусства конюшего состоит в том, чтобы сделать коня кротким и послушным. Совершенство науки царствовать состоит в том, чтобы производить повиновение. Лакедемоняне не рождали послушания в других народах, но заставляли их желать быть под их начальством и им повиноваться. Не просили они у спартанцев ни кораблей, ни денег, ни воинов, но одного начальника. Когда получали его, оказывали ему почтение и боялись его.

Так повиновались сицилийцы Гилиппу, халкидяне – Брасиду, все народы, обитавшие в Азии – Лисандру, Калликратиду и Агесилаю. Спартанских начальников называли исправителями и преобразователями народов и начальствующими; на самую же Спарту взирали как на наставника и учителя благонравия и благоустроенного правления. Кажется, к этому относятся в шутку сказанные слова Стратоника*. Он говорил, что афинянам повелевает торжествовать таинства и священные годы; элейцам – учреждать народные игры, в которых они весьма искусны; когда же в чем погрешат, сечь за то лакедемонян*. Это сказано для смеху. Эсхин же, ученик Сократа, видя, что фиванцы гордятся победой, одержанной при Левктрах, сказал: «Нет никакого различия между ними и детьми, хвалившимся тем, что побили своего наставника».

Однако не то было главное намерение Ликурга, чтобы Спарта над многими начальствовала. Быв уверен, что блаженство целого общества, равно как и одного человека, зависит от добродетели и согласия с самим собой; он устроил Спарту таким образом, чтобы граждане как можно долее были свободны и добродетельны. Это послужило основанием республики Платоновой, Диогеновой, Зеноновой и всех тех, кто предпринял нечто сказать об этом предмете и заслужили похвалу, оставивши одни сочинения и речи. Ликург, напротив того, не оставил ни сочинений, ни речей, но на самом деле произведя, так сказать, на свет неподражаемую республику, опроверг мнение тех, кто не верит в существование истинного мудреца, каким философы его описывают. Ликург показал целый город любомудрствующим и тем по справедливости превысил славой всех греков, когда-либо устроивших правление. По этой причине Аристотель говорит, что ему оказывается менее почестей, нежели как должно. Впрочем, он получил самые высокие отличия: ему посвящен храм, в котором ежегодно, как богу, приносят жертвы. Говорят, что тогда, как перенесен был в Спарту его прах, молния упала на гроб его*, чего не случилось ни с кем из знаменитых мужей, исключая Еврипида, который умер и погребен в Македонии, близ Аретусы*. Это оправдывает почитателей этого стихотворца, которому после смерти приключилось то же самое, что прежде того со священнейшим и богам любезнейшим человеком.

Некоторые говорят, что Ликург умер в городе Кирре*; Аполлофемид же уверяет, что он был перенесен в Элиду. Тимей и Аристоксен* повествуют, что он окончил дни свои на Крите. Последний говорит, что критяне показывают его гробницу в Пергаме, близ большой дороги. Он оставил одного сына по имени Антиор, смертью которого пресекся его род. Друзья и родственники в честь его учредили общество, которое весьма долго существовало; дни, в которые они собирались, называемы были «Ликургидами». Аристократ, сын Гиппарха, пишет, что приятели Ликурга, у которых он жил на Крите, сожгли тело его и прах рассеяли в море, как он просил их, боясь, чтобы, по принесении праха его в Спарту, лакедемоняне не подумали, что он возвратился, и этим освободясь от данной ему клятвы, не переменили бы правления.

Вот что мы знаем о Ликурге.

Нума

О времени, в которое жил Нума, происходят также великие споры. Хотя некоторые родословия весьма точно до него простираются, однако некто по имени Клодий в книге своей «Исследование времен» уверяет, что древние письменные доказательства истреблены во время разорения Рима галлами, ныне же существующие неверно составлены льстецами особ, желавших насильственно вступить в первые поколения и в знаменитейшие дома, хотя к ним совсем не принадлежат. Вообще полагают, что Нума был слушатель Пифагора; однако некоторые утверждают, что он вовсе не учился греческой философии либо потому, что от природы был одарен свойствами, потребными для достижения добродетели, либо потому, что образован каким-нибудь иноплеменным философом, мудростью греческого превосходящим. Иные уверяют, что Пифагор родился около пяти поколений* после Нумы; что другой Пифагор, спар-

танец, одержавший победу на Олимпийских играх в третьем году шестнадцатой олимпиады, когда Нума был избран царем, странствуя по Италии, имел свидание с Нумой и вспомоществовал ему в устройении государства*. По этому самому многие лаконские постановления введены в Рим по совету сего Пифагора. Впрочем, всем известно, что Нума родом сабинянин; сабиняне же почитали себя лакедемонскими переселенцами*. Весьма трудно означить с точностью годы, особливо следуя числу олимпиоников (победителей на Олимпийских играх), список которых долгое время спустя издан элейцем Гиппием, который в удостоверение не представил никаких точных доказательств. Мы опишем то, что знаем достопамятнейшего о жизни Нумы, сделав пристойное к тому начало*.

Тридцать семь лет уже существовал Рим под правлением Ромула. В пятый день месяца июля*, называемый ныне Капратинскими нонами (*Nonae Capratinae*), Ромул приносил все-народную жертву вне города, на месте, называемом Козьим болотом, в присутствии сената и большей части граждан. Вдруг произошла в воздухе великая перемена; туча, сопровождаемая сильным ветром и бурей, ниспустилась на землю. Толпа народа в ужасе разбежалась и рассеялась; Ромул исчез; не нашли его ни живого, ни мертвого. Большое подозрение падало на патрициев. Разнесся в народе слух, что они, давно уже наскуча царской властью, желали присвоить себе всю силу и для этого умертвили Ромула, ибо он с некоторого времени поступал с ними строже и самовластнее прежнего. Патриции старались рассеять эти подозрения, оказывая Ромулу почести, приличные богам, как будто он не умер, но удостоился высшей участи. Прокул, знаменитый человек, клялся перед народом, что он видел, как Ромул во всеоружии возносился на небеса, и слышал его голос, повелевавший впредь называть себя Квирином.

Однако в городе восстали новые возмущения и раздоры касательно избрания наследника Ромулу. Новые граждане еще не были тесно соединены с прежними. Народ еще волновался; патриции, в раздоре и несогласии между собой, подозревали друг друга. Однако все были согласны в том, чтобы иметь царя над собой. Они спорили и были противных мыслей не только о том, кого избрать в цари, но еще и о народе, из которого избрать его надлежало. Первые населившие с Ромулом город не терпели, чтобы сабиняне, сделавшиеся участниками города и области, начальствовали над теми самими, которые их к себе приняли. Но и требования сабинян имели свои основания. Они представляли, что по смерти царя их Татия не возмутились против Ромула, но позволили ему одному править. По этой причине имели право избрать царя из своего народа, ибо они не присоединились к ним, как слабейшие к сильнейшим, но, составив одно тело с римлянами, числом своим усилили их и возвысили своим союзом до такого могущества. Такого рода были их распри! Дабы несогласие не произвело мятежа, во время сего безначалия, при колеблющемся состоянии республики, патриции, число которых было сто пятьдесят человек, определили, чтобы каждый из них по очереди в царской одежде приносил богам узаконенные жертвы и творил суд именем Квирина и Татия шесть часов дня и шесть часов ночи*. Такое разделение времени почитали правители весьма полезным для равенства между собой; перемена же власти, по их мнению, уничтожала зависть народа, видевшего в тот же день и в ту же ночь одного и того же человека, делающегося из царя простым гражданином. Этот образ правления назван римлянами *interregnum* — междуцарствием.

Хотя, по-видимому, правили они кротко и благоразумно, но подозрения и ропот их преследовали. Они обвиняемы были в том, что превращают правление в малоначалие; что, присвоивши себе всю власть, не хотели быть управляемы царями. Наконец, обе стороны согласились между собой в том, чтобы один народ избрал царя из другого. Они думали, что только сим способом прекратятся раздоры и избранный царь равно будет благосклонен к тем и другим, любя одних, как избравших его, других – как своих единоплеменных. Сабиняне уступили право выбора римлянам, которые лучше захотели иметь царем сабинянина, ими самими избранного, нежели римлянина, избранного сабинянами. После советов своих римляне избрали Нуму Помпилия, сабинянина не из числа переселившихся в Рим, но столь всем известного по своим

добродетелям, что сабиняне, услышавши одно это имя, приняли его охотнее тех самых, которые его избрали. Объявив народу свой выбор, отправили к Нуме посланниками знаменитейших граждан из обоих народов, дабы просить его прибыть к ним и принять царское достоинство*.

Нума родился в Курах*, главном сабинском городе, от которого римляне называли себя Квиритами, вместе с сабинянами, к ним присоединившимися. Он был сыном Помпония, мужа знаменитого, младшим из четырех братьев. По некоему божественному определению родился он в тот самый день, в который Ромул основал Рим, двадцать первого числа апреля. Будучи от природы способен ко всем добродетелям, он образовал себя еще более учением, терпением и любомудрием; укротил в себе не только всеми порицаемые страсти, но, полагая истинное мужество в обуздании рассудком своих желаний, удалил от себя все свойства, столь много варварами уважаемые, каковы суть насилие и любостязание. Вследствие этого он изгнал из своего дома всякую негу и пышность, готов был услуживать каждому согражданину или иноземцу как справедливый судья, как искренний советник. Сам, пользуясь душевной свободой, проводил время не в забавах, не в приобретении богатства, но в поклонении богам и в умственном созерцании их свойств и могущества. Таким образом он достиг столь громкой славы, что соцарствовавший в Риме Ромулу Татий сделал его зятем своим, выдав за него единородную дочь свою Татию. Однако это супружество не родило в нем гордого желания переселиться в Рим к тестю; он оставался всегда в земле сабинской, оказывая старому отцу своему потребную помощь. Сама Татия предпочла спокойствие мужа, живущего в неизвестности, почестям и славе, которыми она могла пользоваться в Риме при отце своем. Уверяют, что она умерла на тринадцатом году замужества своего.

Нума, оставив городскую жизнь, большей частью проводил время на полях; с удовольствием блуждал один по лугам и по рощам, посвященным богам, по местам, уединенным и пустынным. От этого распространился слух о собеседовании его с некоторой богиней. Все говорили, что Нума оставил сообщество людей не от печали душевной и от помешательства ума; но оттого, что наслаждается тесной связью с высшим существом, удостоился брака божественного и вместе с нимфой Эгерией*, любившею его, проводил жизнь в совершенном блаженстве и приобрел от нее познания о всех божественных делах.

Все это очень походит на те весьма древние басни, которые с удовольствием повествуют фригийцы об Атисе, вифинцы о Геродоте, аркадяне об Эндимионе* и о многих других, удостоившихся высшего блаженства и божеской любви. Не противно разуму, что бог, любя человека более, нежели четвероногих или птиц, охотно пребывает с людьми, отличными по своим добродетелям, и не гнушается собеседованием с человеком благочестивым и мудрым. Но чтобы тело человеческое и красота могли прельстить какого-либо бога или гения и склонить его к сообщению с человеком – в этом увериться трудно. Довольно правдоподобно мнение египтян, которые говорят, что не невозможно женщине зачать наитием духа божия; но что между смертным и божеством не может быть никакой связи, никакого телесного сокоупления. Они не знают, что существо, соединяющееся с другим, сообщает ему равным образом свое бытие. Прилично верить, что боги имеют к человеку дружбу, которая есть нечто похожее на любовь, цель которой состоит в исправлении нравов и в обращении его на стезю добродетели. Не ошибаются те, которые повествуют, что Форбант, Гиакинф и Адмет были любимы Аполлоном, равно как и Ипполит Сикионский*. Каждый раз, как этот молодой человек переезжал из Сикиона в Кирру, то Аполлон, как бы чувствуя это и радуясь, влагал в уста пифии следующий стих:

Любезный Ипполит преходит моря волны.

Говорят также, что Пан любил Пиндара и его стихотворения*; что божество из уважения к Музам удостоило Архилоха и Гесиода великих почестей по их смерти*; что Софокл

при жизни принял у себя и угостил Асклепия (Эскулапа). Это подтверждается многими еще ныне существующими доказательствами. Говорят также, что другой бог по его смерти имел попечение о погребении*. Если примем это, то можно ли подумать, что божество не являлось Залевку*, Миносу, Зороастру, Нуме, Ликургу – этим особам, которые управляли государствами и учредили правление? Не беседуют ли боги с ними о важных предметах для научения их и для ободрения в делах похвальных и полезных, а стихотворцев и лириков, бряцающих на лире (если действительно снисходят к ним), употребляют к забаве своей? Кто думает иначе, тому, как говорит Вакхилид*, «широка дорога». Впрочем, есть и другое о Нуме, Ликурге и подобных им, недурное мнение, то есть что они, укрощая дикие и грубые народы и вводя великие в правление перемены, приписывали себе божескую власть, спасительную для тех самых, для коих ее себе присваивали.

Нуме было уже сорок лет, когда прибыли из Рима посланники для призвания его на царство. Прокул и Велес говорили ему речи. Одного из них народ прежде был склонен избрать в цари. Граждане Ромула более благоприятствовали Прокулу, Татия – Велесу. Речи их были кратки; они думали, что Нума будет обрадован сим счастьем. Но, против чаяния, им стоило великих трудов, многих речей и молений убедить человека, прошедшего жизнь свою в тишине и мире, сделаться главой города, некоторым образом родившегося и взрослого в бранях. Нума в присутствии отца своего и Марция, одного из своих родственников, говорил посланникам, что всякая перемена в человеческой жизни опасна; что одна лишь безрассудность может заставить переменить обыкновенный образ жизни того, кто не имеет недостатка в нужном, ни причины жаловаться на настоящее; что состояние его, если не другим чем, по крайней мере постоянством своим предпочтительнее неизвестности будущего; напротив того, не безызвестны ему опасности царского сана, судя по тому, что случилось с Ромулом; какое жестокое падало на него подозрение в убийстве соначальствующего Татия; сколь было сильно подозрение на сенаторов по его смерти: как будто он убит ими, несмотря на то что они прославляют Ромула сыном богов, уверяют, что он воспитан богами и чудесным образом ими спасен во младенчестве. «Но вам известно, – продолжал он, – что я происхожу от смертных; воспитан, образован людьми, которых вы знаете. Все, что в жизни моей заслуживает внимания – тихая, спокойная жизнь, беспечное упражнение в науках, – суть свойства человека, не сотворенного для царствования. Велика во мне любовь к миру, вместе со мной возросшая, любовь ко всему невоинственному, к этим людям, которые собираются единственно для поклонения богам и для дружеского угощения, в прочее же время обрабатывают землю или пасут стада. Но Ромул оставил вам, может быть, многие произвольные брани, и, чтобы вести их, государство имеет нужду в царе пылких свойств и цветущих лет. Самое счастье произвело в народе склонность к войне. Всем известно, что римляне хотят распространить власть свою и обладать другими. Служа богами, научая город, которому более нужен полководец, нежели царь, чтить справедливость, ненавидеть войну и насилие, я бы подвергся лишь посмеянию!»

Таким образом, Нума отказывался от царства. Римляне употребили все усилия, просили его, заклинали не ввергнуть их в новые мятежи и междоусобную войну, ибо нет ни одного человека, к которому бы обе стороны равно были склонны. По удалении их отец его и Марций приступили к Нуме, увещевая его принять этот великий и божественный дар. «Хотя ты, – говорили они, – не имеешь нужды в богатстве, довольствуясь своим состоянием; хотя не прельщает тебя слава власти и могущества, обладая славой добродетели, все прочее превышающей; но управление царством должен ты почитать служением богу, который возносит толикую справедливость, какова твоя, и не оставляет ее в бездейственном усыплении. Не убегай, не отвергай власти. Для мудрого она есть поле к произведению великих и прекрасных подвигов. На этом-то поприще можешь ты с должным великолепием почтить богов, смягчить к богопочитанию сердца людей – они скоро и легко переменяются властителем. Эти самые люди полюбили Татия, хотя иноплеменного владетеля, и памяти Ромуловой оказывают божественные почести.

Кто знает, может быть, этот победоносный народ пресыщен уже войной; может быть, обремененный триумфами и добычей, желает иметь над собой правителя кроткого, друга справедливости, для введения благоустройства и утверждения мира. Но если они объаты совершенно неистовой и яростной к войне страстью, то не лучше ли обратить в другую сторону стремление их, приняв в руки бразды правления, и соединить отечество и сабинский народ узами благосклонности и дружбы с городом воинственным и могущественным?» К представлениям их, как повествуют, присоединились благие предзнаменования; старание и просьбы сограждан, которые, узнавши об этом посольстве, умоляли Нуму идти в Рим и принять правление, дабы ввести согласие и теснейший союз между двумя народами.

Нума наконец решился. Принес жертвы богам и отправился в путь. Сенат и народ римский, исполненные чрезвычайной к нему любви, вышли во сретение. Женщины принимали его с благословениями; в храмах приносимы были жертвы; все радовались, как будто бы город принял не царя, но царство. По прибытии их на площадь интеррекс (временный царь) тех часов Спурий Веттий начал собирать голоса граждан; все единодушно подали в пользу Нумы. Принесены были царские украшения. Нума велел остановиться, ибо нужно было, говорил он, чтобы и божество утвердило его избрание на царство. Взяв с собой прорицателей и священников, взшел на Капитолий, который в то время римляне называли Тарпейской скалой. Там первенствующий среди авгуров обратил Нуму к югу и, покрыв лицо его, стал позади его и положил правую руку ему на голову. Он приносил молитвы богам и обращал повсюду взоры свои, дабы узреть то, что было предъявляемо полетом птиц или другими знамениями. Невероятная тишина простерлась по площади, покрытой великим множеством народа. Всех мысли к нему обращены были; все колебались сомнением о будущем. Наконец благовестные птицы явились на правой стороне и подтвердили избрание. Нума облекся в царскую одежду* и сошел с Тарпейской скалы на площадь. Народ принял его с громкими восклицаниями и осыпал радостными приветствиями, как благочестивейшего и богам любезнейшего человека.

При самом начале царствования Нума уничтожил отряд, состоявший из трехсот телохранителей, которые всегда окружали Ромула и назывались «келерами», то есть «быстрыми». Он не хотел ни оказывать недоверчивости к тем, кто ему верил, ни царствовать над теми, кто не имел к нему доверенности. Во-вторых, к двум жрецам Юпитера и Марса придал еще третьего, которого назвал «фламинем Квирина» (*Flamen Quirinalis*). Римляне называли фламинами прежних жрецов от греческого названия остроконечной шляпы*. В ту пору греческие слова более теперешнего вменялись в латинские. По свидетельству Юбы, лены, или епанчи, которые носили цари, то же, что греческое слово «хлены». Служащего в Юпитеровом храме отрока, отец и мать которого были живы, называли они «камиллом»*, и этим именем некоторые из греков называют Гермеса по той причине, что он служит богам.

Постановив это в угождение народа и для приобретения любви его, Нума тотчас принял намерение соделать город, твердостью своей подобный железу, из воинственного и дикого кротким и более справедливым. Тогда Рим в самом деле был то, что Платон называет – гражданством в воспалении. С самого начала составил он смелостью и отчаянной дерзостью отважных и воинственнейших людей, со всех сторон туда стекавшихся. Многие походы и частые брани послужили к пище и утверждению силы их; самые опасности укрепили их и усилили – так воткнутые в землю сваи от частых колебаний становятся тверже. Нума видел, что укротить и привести к миролюбию народ, столь надменный, – весьма трудное дело; по этой причине призвал он на помощь богов. Установленными им и совершаемыми жертвами, торжественными ходами и плясаниями, соединяющими с важностью приятность и кроткие забавы, большей частью он смягчал и укрощал стремительность их и браннолюбие. Нередко, угрожая их гневом богов, возвещая виденные им странные явления и слышанные неблагоприятные гласы, ввергал их в ужас и делал покорными суеверием.

Все это заставило думать, что Нума, судя по его воспитанию и мудрости, был, конечно, слушателем Пифагора. Известно, что большей частью философия последнего, равно как и политика первого, состояли в священных обрядах и в поклонении богам. Говорят также, что Нума употреблял наружную важность и святость, в которую облекся, с таким же намерением, как и Пифагор. Этот философ так приучил к себе орла, что некоторыми словами мог остановить его парение и заставить спуститься к нему, а на Олимпийских играх показал золотое бедро свое, идучи через собрание всего народа. Повествуют о нем многие другие чрезвычайные изобретения и искусства. По этому поводу Тимон Флиунтский* пишет о Пифагоре:

Желает волшебством мудрец себя прославить;
Словами пышными умеет уловлять.

Равным образом и Нума выдумал басню о любви к нему некоторой богини, или горней нимфы, о таинственном с нею сообщении, о беседовании с Музами. Большую часть прорицаний приписывал он Музам и научил римлян более всех чтить одну из них, которую назвал он Такитой, то есть «молчаливой», или «немой», как бы тем напоминал пифагорейское молчание и почитал его.

Предписания его у кумирах совершенно сходны со мнениями этого философа, который учил, что первое начало вещей не есть чувственное, или изменению подтвержденное, но невидимое, нетленное и одним умом постигаемое. Нума же запретил римлянам представлять бога под видом человека или животного. Прежде не было у римлян ни в изваяниях ни в живописи изображений богов. В первые сто семьдесят лет строили они храмы и другие священные здания, однако не ставили в них никаких изображений. Непозволительным они почитали уподоблять высшее низшему и постигать божество иначе, нежели умом. Равным образом установленные Нумой жертвоприношения весьма сходны с Пифагоровым учением о богах. Оные были бескровны и состояли большей частью из муки*, излияний и самых обыкновенных вещей.

Кроме этого, приводят еще и другие примеры те, которые стараются доказать сношения этих двух мужей. Во-первых, что римляне дали Пифагору право гражданства, как свидетельствует Эпихарм*, весьма древний комический стихотворец, последователь Пифагорова учения, в сочинении своем к Антенору. Во-вторых, что одного из своих четырех сыновей Нума назвал Мамерком, по имени сына Пифагора. (От Мамерка происходит род Эмилиев, из числа патрициев. Нума дал Мамерку имя Эмилия, желая показать приятность и сладость его речей*.) Мы сами слышали многих в Риме, повествующих, что некогда прорицалище велело римлянам поставить в своем городе кумиры мудрейшему и храбрейшему из греков, и они поставили на площади два медных кумира – Пифагору и Алкивиаду*. Все это подвержено столь многим сомнениям, что далее о том рассуждать с намерением доказать или опровергнуть – значит заводить детские споры.

Нуме приписывают учреждение и начало первосвященников, которых римляне называют «понтификами», уверяя притом, что он был первым из них*. Название свое они получили, как некоторые говорят, от того, что служат всемогущим и вседержавным богам, а «могущественный» по-латыни – «потенс» (*potens*). Другие утверждают, что имя это включает условие «если можно», как будто законодатель повелевал жрецам приносить возможные жертвы, и что препятствие или невозможность совершить их не поставится им в вину. Многие весьма одобряют известное смешное произведение сего слова, будто оно значит «мостостроители», по причине священнодействий весьма почтенных и древних, на мосту совершаемых: жертвы приносят подле моста; а мост по-латыни «понт» (*pons*). Самый присмотр за мостами и починка их, как будто неприкосновенный и священнейший обряд, принадлежат жрецам*. Римляне почитают преступником и предают проклятию дерзнувшего разломить деревянный мост. Оный построен из одного дерева без железа, по велению некоего прорицания*. Каменный мост построен

гораздо после, во время квестуры Эмилия*. Однако и деревянный построен* после Нумы в царствование Анка Марция, его внука. Верховный жрец, или Великий понтифик (*Pontifex Maximus*), есть толкователь и прорицатель или, лучше сказать, надзиратель всего священнослужения. Он имеет надзор не только над священнодействиями, всенародно совершаемыми, но и над частными жертвоприношениями; препятствует преступать отечественные обряды и научать каждого тому, чем должно чтить или умиловать богов.

Верховный жрец был попечителем священных дев, называемых весталками. Установление их также приписывается Нуме, равно как обряды и служение, совершаемое в честь бессмертного огня, сими девами охраняемого. Нума препоручил им либо из-за их непорочности и нерастленности, огонь, вещество самое чистое и нетленное; либо потому что находил сходство между девством и бесплодием этой стихии. В тех местах Греции, где хранится неугасимый огонь, как-то: в Дельфах и в Афинах, – имеют о нем попечение не девы, но женщины, которые по летам своим не могут уже выйти замуж. Если огонь этот погаснет (так, как в Афинах во время тираннства Аристона* потух священный светильник; в Дельфах при сожжении мидянами Аполлонова храма и в продолжение митридатских браней и междоусобной войны римлян, когда исчез огонь вместе с жертвенником), то не позволялось разводить его другим огнем, но было предписано заимствовать от солнца пламя чистое и неоскверненное. Огонь этот разводят вогнутыми сосудами, пустота которых образуется прямоугольными равнобедренными треугольниками, обращенными из окружности к одному средоточию*. Их ставят против солнца, лучи которого, со всех сторон преломляясь, собираются и соединяются в одну точку, разделяют разрезающийся воздух и зажигают мгновенно перед ними лежащие сухие и тонкие вещества, ибо лучи отражением приобретают силу и действие огня. Вообще уверяют, что священные девы ничего другого не стерегут, кроме этого неугасимого огня; другие, напротив того, утверждают, что тут скрываются тайны, другим неведомые. В жизнеописании Камилла говорили мы о них то, что позволено знать и говорить.

Нума сначала посвятил только двух дев: Геганию и Верению; потом прибавил Канулею и Тарпею. Сервий впоследствии умножил число их двумя – и оно осталось неизменным до настоящего времени. Нума определил этим девам тридцатилетнее девство. В первые десять лет они учатся тому, что делать надлежит; в другие десять лет исполняют то, чему научились; а в последние десять лет сами учат других. По прошествии этого времени позволено им выходить замуж и вступать в другой род жизни, оставя священничество. Не многие, однако же, воспользовались этой свободой. Те, кто принял ее, провели остаток дней своих в раскаянии и унынии и тем поселили в других такой ужас, что все до самой смерти остаются в девстве.

Царь дал им великие преимущества. Между прочим, было им позволено делать завещание при жизни родителей, располагать своим именем без попечителя, подобно женщинам, родившим троих детей*. Если они куда-нибудь выходили, то сопровождали их ликторы*. Когда нечаянно встречались с преступником, ведомым на казнь, то его освобождали от смерти; надлежало только весталке клятвой подтвердить*, что встреча эта была случайна и без всякого намерения. Кто проходил под носилками, в которых они сидели, тот подвергался смертной казни. Верховный жрец наказывает за вины весталок розгами, нередко нагих, в темном месте под покрывалом. Посрамившую девство свое живую зарывали в яму при воротах Коллинских. Близ этого места внутри города есть некое продолговатое возвышение земли, называемое полатыни *agger*, то есть «насыпь». Здесь под землей делали небольшое жилище, в которое входили сверху; в нем ставили постель, зажженный светильник, малое количество нужных для пропитания припасов, как-то: хлеба, воды, масла и молока – как бы почитали преступлением умертвить голодом особу, освященную важнейшими обрядами. Виновную сажали на носилки, закрывали снаружи, увязывали ремнями, чтобы и голосу ее не было слышно, и несли через площадь. Все встают перед ней в молчании и провожают безмолвно с великим унынием. Нет для города ужаснее сего зрелища, нет для него плачевнее сего дня. По прибытии в назначен-

ное место служители развязывают ремни. Начальник жрецов, совершивши тайные молитвы, с воздетыми руками к небу перед исполнением наказания выводит закрытую преступницу, ставит на лестницу, ведущую в подземелье, и удаляется с другими жрецами. Как скоро весталка сойдет, тотчас снимают лестницу, а отверстие засыпают великим количеством земли, так что все место сравнивают с прочим возвышением. Таким образом наказывают весталок, преступивших свою должность!

Уверяют также, что Нума воздвиг Весте* круглый храм, в котором хранился неугасимый огонь, изображая тем не землю (как бы она была Веста), но вид всего мира, в средоточии которого пифагорейцы полагают огонь, называя оный Вестой, или Монадой. По их мнению, Земля не есть неподвижна и не находится в середине мира, но возвращается вокруг огня и не может почтеться важнейшей и превосходнейшей частью вселенной*. Именно такое мнение о Земле в старости принял и Платон; он думал, что средняя, важнейшая часть уступлена лучшему телу и что Земля занимает совсем другое место.

Понтифики наставляют в обрядах погребения тех, кто имеет в том нужду. Нума научил их не почитать сего занятия нечистым и настоял в жертвах, назначенных подземным богам, яко приемлющим к себе лучшую часть существа нашего. В особенности же почитают они богиню, именуемую Либитиной, имеющую надзор над обрядами, касающимися погребения*. Богиня эта есть или Персефона, или, как ученые из римлян рассуждают, Афродита*, не почитая неприличным приписывать действию одного божества вину рождения и смерти нашей. Нума положил срок сетованию по умершим, соответственно их летам. Запретил оплакивать младенца, не достигшего трехлетия; прешедшего же этот возраст позволил оплакивать столько месяцев, сколько лет он жил; но этот срок оканчивался десятым годом. Более сего времени не позволил никого оплакивать. Итак, должайшее сетование простиралось до десяти месяцев. Столько же времени продолжалось и вдовство женщин. Которая из них прежде сего времени выходила замуж, приносила в жертву по законам Нумы стельную корову.

Сверх этого Нума учредил многие другие роды священства. Я буду говорить о салиях и о фециалах, назначение которых более всего доказывает набожность сего мужа. Фециалы суть как бы мирохранители. Название свое получили, как я думаю, от своей должности*. Они старались пресекать раздоры словами и не прежде позволяли начинать военные действия, как по прекращении всякой надежды к получению законного удовлетворения. Под словом «мир» греки разумеют то состояние, когда две стороны словами, а не силой прекращают взаимные распри. Римские фециалы часто ходили к народу*, который наносил обиду, и старались склонить его к дружелюбию. Если в том не успевали, то призывали во свидетели богов, предавали ужасному проклятию себя и свое отечество в том случае, когда бы нападали несправедливо; потом объявляли войну. Без согласия их и одобрения не было позволено ни простому воину, ни царю поднять оружие на неприятеля. Правителю надлежало от них узнать, справедливо ли начинается война, потом принять потребные к войне меры. Говорят, что бедствие, постигшее Рим во время нашествия галлов, произошло от того, что преступили эти законы. Известно, что галлы осаждали город Клузий. В стан их послан был Фабий Амбуст для примирения их с осажденными. Получив от галлов гордый ответ и полагая, что этим его посольство кончилось, с юношеской безрассудностью принял оружие за клузийцев и вызвал на единоборство храбрейшего из варваров. В бою был он столько счастлив, что убил противоборника и снял с него оружие. Галлы, узнав об этом, отправили вестника в Рим и обвиняли Фабия в том, что он, не объявив войну, ведет с ними брань против договоров, против всех прав. Фециалы советовали сенату выдать Фабия галлам; но Фабий обратился к народу и, пользуясь его благорасположением, избег наказания. Вскоре после того галлы напали на римлян и опустошили весь город, кроме Капитолия. Но об этом подробнее в жизнеописании Камилла.

Что касается до салиев, то учреждение их имело следующую причину. В восьмое лето царствования Нумы язва, распространявшаяся по Италии, опустошила наконец самый Рим.

Жители были погружены в величайшее уныние. Повествуют, что в это время медный щит, несшийся с неба, упал в руки Нумы. Об этом щите царь рассказывал чудеса, о которых он узнал от Эгерии и Муз. Он уверял, что этот щит ниспослан небом для спасения города; что надлежало его беречь и сделать одиннадцать других – совершенно одинакового вида и величины, дабы никакому вору невозможно было отличить от прочих того, который упал с неба; что место, в котором он храниться будет, надлежит посвятить Музам, равно как и окрестные луга, куда они часто приходят провождать с ним время; что должно было уступить весталкам источник, орошающий это место, дабы они, черпая из него воду, ежедневно очищали и окропляли храм. Пресекаясь немедленно зараза оправдала его слова. После того как царь показал мастерам щит и предложил провести соревнование в сходстве, все отказались, кроме Ветурия Мамурия, превосходного художника, который сделал щиты столь похожие один на другой, что сам царь не мог отличить своего. Хранителями их и зрителями определил он жрецов-салиев. Они названы салиями не от имени некоего Салия, самофракийца или мантинейца, который будто научил их пляске с оружием в руках, как говорят некоторые, но от самого рода пляски, которую совершают с прыганьем*. В марте месяце берут они священные щиты и с пляской носят по городу; они одеты в багряное короткое платье, препоясаны медными широкими поясами, имеют на головах медные шлемы* и ударяют о щиты короткими ножами. Все прочие движения производятся ногами. Эти движения приятны для глаз. Салии делают многие обороты и извития размером скорым и частым с силой и проворством. Щиты их называются «анкилия» по причине их вида. Они не совершенно круглы, ниже подобны греческому щиту пельте, у которой вид полумесяца, но имеют выемки извивающейся черты, края, загибаясь и обращаясь один к другому, образуют кривой вид*, по-гречески называемый «анкилон». Может быть, оное название происходит от слова «анкон» – «локоть», на котором их держат. Так говорит Юба, желая доказать, что слово «анкилия» есть греческое. Может быть, название это происходит от того, что щит упал сверху, что по-гречески «анекафен», или от исцеления больных – «акесис», или от прекращения засухи – «авхмос», или, наконец, от удержания бедствий – «анаехиси»; почему афиняне называют Диоскуров (Кастора и Поллукса) Анаками – если должно дать сему слову греческое происхождение. В награду Мамурию за искусство салии упоминают о нем в песне, которую поют во время этот военной пляски. Некоторые говорят, что воспевают они не Ветурия Мамурия, но *veterem memoriam*, то есть «древнее воспоминание».

Нума, учредив таким образом священничество, построил близ храма Весты так называемую Регию – царское обиталище. Здесь проводил он большую часть времени в священнодействиях, или в учении жрецов, или в беседах с ними о священных делах. У него был другой дом – на холме Квирина, это место и ныне показывают. При всех торжествах и священных ходах жрецов шли впереди провозглашатели, повелевавшие всем оставлять занятия и работу. Пифагорейцы запрещают поклоняться и молиться богам, так сказать, мимоходом. Они учат выходить из дому, настроивши прежде душу к молитве. Равным образом Нума заботился о том, чтобы граждане не смотрели ни на какое священнодействие с нерадением и без внимания; будучи свободны от занятий, они должны были обращать все мысли на богослужение, как на важнейшее дело. Для этого он хотел, чтобы в продолжение священнодействия на улицах не было ни шума, ни крика, ни стенаний, сопровождающих обыкновенно трудные ремесленные работы. И доныне сохранились некоторые следы этих постановлений. Когда начальствующий наблюдает полет птицы или совершает жертвоприношение, то кричит: «*Hoc age!*», то есть: «Делай это!», желая сам напомнить присутствующим, что должно обращать внимание на совершаемое действие.

Многие другие его наставления сходствуют с пифагорейскими. Философы этой секты советовали не садиться на хиникс; не мешать огня ножом; отправляясь в путь, не оглядываться назад; приносить жертвы небесным богам числом неровные, а подземным – ровные*. Они скрывали от других истинный смысл этих предписаний. Равным образом таинственны неко-

торые постановления Нумы, как-то: не совершать излияний богам из необрезанной виноградной лозы; не приносить жертвы без муки; кланяться богам, обращаясь во все стороны, и после сего садиться*. Первые два обряда, кажется, научают обрабатыванию земли как части богослужения. Кругообращение же молящихся почитается подражанием кругообращению мира. Но, быть может, это изъясняется тем, что вход в храм на восточной стороне; посему молящийся, вступая в него, поворачивается спиной к Солнцу, но, переменяя положение, обращается к сему богу и описывает таким образом круг, принося между тем молитву обоим богам*. Или перемена положения имеет некоторое сходство с египетскими колесами и, подобно им, научает, что нет ничего постоянного в человеческих действиях и что надлежит охотно и без роптания принимать все перемены и превратности, которым бог подвергает жизнь нашу. Что касается сидения после молитвы, то, как говорят, это можно почестъ предзнаменованием того, что моления богам будут услышаны и блага, ими ниспосылаемые, будут постоянны. Также говорят, что как успокоение есть предел деяний, то, окончив одно дело, садятся перед богами – как бы для получения от них начала другому. Может быть, это сходствуется с тем, что сказано выше, а именно, что законодатель заставляет нас молиться богам не в то время, когда мы развлечены другими делами, не мимоходом и с поспешностью, но когда свободны и ничем не заняты.

Наставляя таким образом граждан в богопочитании, Нума сделал их столь себе покорными и внушил тоlikое почтение и страх к своей силе, что они верили словам, которые своею странностью походили на басни. Они думали, что не было для него ничего невозможного. Говорят, что Нума, признавши некогда к столу немалое число граждан, поставил перед ними самые простые кушанья и бедные приборы. Лишь только начали они есть, Нума сказал им, что идет к нему богиня, с которой он беседует, и в одно мгновение комната наполнилась богатыми сосудами, столы покрылись многоразличными яствами и великолепными приборами.

Но разговор Нумы с Юпитером все превосходит своею странностью. Баснословят, что два демона*, Пик и Фавн, во всем сходные с сатирами, часто приходили на холм Авентинский, который тогда, не составляя части города, не был еще населен и имел обильные источники и тенистые дубравы. Говорят, что они, бродя по Италии, силой лекарств и искусством в волшебных таинствах творили многие чудеса, чем прославились у греков, так называемые дактили с горы Иды*. Нума, вливши вина с медом в источник, из которого они обыкновенно пили, привлек их к себе и поймал. Будучи схвачены, они оставили природный свой образ, принимая различные виды, показываясь ему странными и ужасными страшилищами. Наконец, чувствуя, что они пойманы без всякой надежды освободиться, поведали ему многое о будущем и научили его делать очищение, отвращающее громовые удары, что совершается и поныне посредством лука, волос и маленьких рыб. Некоторые говорят, что они не научали его такому очищению, но волшебной силой свели с неба Юпитера; что этот бог, гневаясь за то на Нуму, повелевал ему произвести это очищение головами. Нума возразил: «Луковыми?» «Человеческими...» – отвечал Юпитер. Нума, отвращая столь жестокое повеление, переспросил: «Волосами?» «Живыми...» – отвечал Юпитер. «Сардинами?» – возразил Нума. Этому научила его Эгерия. Юпитер, укротясь, удалился на небо; место, где это происходило, названо Иликием, от греческого слова*, которое значит «благоприятный», «милостивый»; очищение же производится по желанию Нумы. Эти смешные и баснословные повествования доказывают, какие чувства к божеству внушили людям введенные тогда обычаи. Сам Нума, как повествуют, до того был вознесен надеждой на бога, что, когда возвестили ему: «Неприятели приближаются», он, улыбнувшись, сказал: «А я приношу жертву!»

Нума первый воздвиг храм Верности и Термина, научил римлян клясться верностью, как важнейшею клятвой, что и поныне они соблюдают. Термин – бог границ. Ему приносят всенародные и частные, на полевых межах, одушевленные жертвы*. В прежнее время жертвы эти были бескровны. Нума рассуждал, что предельный бог, как хранитель мира и свидетель правды, должен быть чист от крови. Кажется, этот царь означил и пределы римской земли.

Ромул не хотел этого сделать, опасаясь показать сим, сколько он отнял земли у других, ибо пределы, когда их уважают, суть ограничение силы; в противном случае служат доказательством несправедливости. Известно, что Рим сначала не имел довольно земли; Ромул большую часть приобрел оружием. Землю эту Нума разделил недостаточным гражданам, дабы истребить бедность, как побудительную причину к несправедливости, и обратить к земледелию народ, который при обрабатывании полей терял свою дикость. Никакой другой род жизни не производил столь живой и скорой любви к миру, как земледельческий. В нем существует и хранится военная смелость, нужная к защищению собственности; склонность к насилию и алчности истребляется. По этой причине Нума заставил граждан упражняться в земледелии, почитая оное единственным побуждением к миру. Он любил этот род жизни более потому, что исправляет нравы, нежели потому, что умножает богатство. Страну всю разделил он на части, которые назвал «пагами» (*pagus*)*. Над каждым пагом поставил надзирателя и стража (*Magistri Pagorum*). Нередко сам обозревал поля и, по трудам граждан судя о нравах их, прилежных отличал почестями и наградами, нерадивых исправлял выговорами и наказанием.

Из всех других его постановлений весьма уважается учиненное им разделение народа по ремеслам. Город, как сказано выше, состоял из двух народов, или, лучше сказать, был разделен на два народа и никаким образом не мог быть одним. Невозможно было истребить раздоров, несогласия, беспрестанной борьбы и распрей обеих сторон. Нума, рассуждая, что тела самые твердые и к соединению по свойству своему неспособные, будучи разделены и раздроблены на части, удобнее смешиваются по причине малости своей, решился разделить весь народ на многие малые части и введением в оный новых различий истребить то первое и великое разделение, которому надлежало исчезнуть во множестве малых. Он разделил народ по ремеслам, как-то: на свирельщиков, золотарей, плотников, красильщиков, сапожников, кожевников, кузнецов, скудельников и прочих. Другие искусства он совокупил и сделал из всех один состав. Каждое отделение составляло особенное общество, которое имело свои собрания, свой образ богослужения. Таким способом изгнал он из города обыкновение, по которому одни называли себя сабинянами, другие – римлянами, одни Татиевыми гражданами, другие – Ромуловыми; и такое разделение было в самом деле соглашением и смешением всех со всеми.

Хвалят также среди гражданских его постановлений ограничение закона, которым позволялось продавать детей своих*. Нума исключил из сего закона женатых, когда женитьба была с согласия отца, зная, сколь жестоко женщине, вышедшей за вольного, быть после сожительницей раба.

Нума занялся учением о небесных телах, хотя несовершенно, но с довольными знаниями. В царствование Ромула месяцы разделены были весьма неправильно. Одни состояли из двадцати дней, другие из тридцати пяти и более. Не имея понятия о разности между течением луны и солнца, римляне заботились только о том, чтобы год состоял из трехсот шестидесяти дней. Нума заметил, что разность состояла только в одиннадцати днях; что лунный год имеет триста пятьдесят четыре дня, солнечный же триста шестьдесят пять; он удвоил число одиннадцать и ввел дополнительный после февраля месяц, называемый римлянами мерцедин, который состоял из двадцати двух дней. Однако все это имело нужду со временем еще в больших исправлениях*. Нума переменял и порядок месяцев. Март, который был первым, сделал он третьим и поставил на место его январь, бывший одиннадцатым во время Ромула; февраль, бывший двенадцатым и последним, стал вторым. Многие уверяют, что месяцы январь и февраль прибавлены Нумой и что прежде год у римлян состоял из десяти месяцев. У некоторых варварских народов год состоял из трех месяцев. Из греческих народов у аркадян год был четырехмесячный, а у акарнанцев шестимесячный. У египтян, как уверяют, год состоял из одного месяца, впоследствии же из четырех. По этой причине, хотя они обитают на новой земле, однако кажутся весьма древним народом. В родословиях своих считают невероятное множество лет, ибо полагают вместо годов месяцы.

Что римляне считали в году только одиннадцать месяцев, а не двенадцать, то доказывает название последнего, который и поныне называется «десятым». Месяц март был первый; пятый месяц от него назывался квинтилис, шестой – секстилис и так далее; но если бы январь и февраль предшествовали тогда марту, то означенный пятый месяц надлежало бы считать седьмым. Весьма вероятно, что месяц марций, посвященный Марсу, был первый; апрель же был второй, и получил название свое от Афродиты. В этом месяце приносят жертвы этой богине, и в календах его женщины купаются с миртовыми на головах венками. Некоторые говорят, что апрель получил свое название не от Афродиты, но от слова *aperire*, «открывать», ибо весна тогда находится во всей силе своей, все цветы произрастают и раскрываются. Из следующих за ним месяцев один назван маем, от имени Майи, матери Меркурия, которому месяц этот посвящен; другой – июнем, от имени Юноны*. Некоторые утверждают, что эти месяцы получили свое название от возрастов, ибо старшие называются «майорес» (*major*), а младшие – «юниорес» (*junior*)*. Прочие месяцы назывались по порядку, как-то: квинтилис, секстилис, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Пятый месяц, или квинтилис, назван июлем от имени Юлия Цезаря, победившего Помпея. Шестой, или сестилис, назван августом, в честь Августа, второго императора. Домициан дал двум следующим месяцам свои имена*; но это недолго продолжалось. По умерщвлении его месяцы были называемы прежними именами. Последние два месяца сохранили по порядку названия, которые даны им с самого начала. Из месяцев, прибавленных или перемещенных Нумой, февраль есть месяц очищения, как самое имя это доказывает. В этом месяце приносят жертвы по умершим и отправляют Луперкалии – праздник, который весьма походит на очищение. Январь назван так от Януса. Я думаю, что Нума лишил председательства месяц март, названный так по имени Марса, желая, чтобы во всем военной силе предпочитаема была гражданская. Этот Янус, бог или царь некий в глубочайшей древности, любил сообщества людей и ввел гражданские постановления. Он переменял дикий и зверский образ жизни тогдашних людей. Изображают его двуличным, потому что он дал тогдашним людям другой вид и другие склонности. В Риме сооружен ему храм о двух дверях, которые названы Вратами брани. В военное время отворяют его, а в мирное затворяют – что нелегко и весьма редко бывает, ибо империя, по причине пространства своего, находится в непрерывной войне, противоборствуя варварским народам, вокруг владений ее рассеянными. Храм этот заперт был во время Августа*, победившего Антония, а еще прежде во время консульства Марка Атилия и Тита Манлия*, но ненадолго. Война настала, и двери были отворены. В царствование же Нумы храм ни разу не был растворен в продолжение сорока трех лет. На столько-то он умел изгнать войну из всех стран своего царства! Не только народ римский смягчился и облагородился, тронутый справедливостью и кротостью государя, но и во всех окрестных городах, как бы из Рима веял чистый и благоухающий ветер, началась полезная перемена. Все одушевлены были любовью к благоустройству и миру, желали спокойно обрабатывать свою землю, воспитывать детей, поклоняться богам. В Италии видны были одни празднества, веселье, взаимные угощения; безбоязненно посещал один другого; все с радостью принимали друг друга. Мудрость Нумы, подобно источнику, изливала справедливость и добродетель, и тишина, его окружавшая, распространялась на всех, так что спокойствие того времени превосходит велеречие и гиперболы самых стихотворцев:

Издельем пауков покрыты Железны, тяжкие щиты;
Снедает ржавчина и копья и мечи.
Не слышны более труб медных громки звуки,
Приятный, тихий сон не гонит от очей*.

Не пишут, чтобы в царствование Нумы случилась война или мятеж, или перемена в правлении. Не было ни зависти, ни вражды против него, ни заговоров, ни злоумышлений из

желания царствовать. Из уважения ли к богам, которые, по-видимому, стерегли сего мужа, из почтения ли к добродетели или действием божеского счастья, сохранявшего жизнь его неприкосновенной от всякой злобы, Нума представил собой пример и доказательство того, что Платон немалое время после Нумы осмелился произнести о правлении, говоря, что одно лишь от бед успокоение, одно спасение людям, если по воле богов царская власть в соединении с умом любомудрым окажет добродетель торжествующую и превознесенную над пороками. Поистине блажен мудрый сам! Блаженны внимающие словам, из уст мудрого исходящим! Не должно ему употреблять ни принуждения, ни угроз для обращения подвластных на стезю добродетели. Они, видя живой ее образ в жизни своего правителя, по воле делаются добродетельными и при дружестве, при взаимном согласии, при справедливости и умеренности удобно обращаются к лучшей и счастливейшей жизни. Вот главная, достойная цель царя! Тот достойнее всех владычествовать над людьми, кто может направить своих подданных к таковым расположениям, к такому образу жизни. Нума, кажется, лучше всех познал сию истину.

В рассуждении его детей и брака историки не согласны. Одни говорят, что он не был женат на другой, кроме Татии, и не имел других детей, кроме одной дочери Помпилии. Другие утверждают, что у него было сверх того четыре сына: Помпон, Пин, Кальп и Мамерк, из которых каждый оставил по себе потомство и был главой особого поколения; что от Помпона происходят Помпонии, от Пина Пинарии, от Кальпа Кальпурнии, от Мамерка Мамерции, прозванные по этой причине «Рексами»*, то есть «Цари». Другие, обвиняя таковых писателей как желавших угождать этим племенам в ложном произведении их от Нумы, уверяют, что Помпилия родилась не от Татии, но от другой жены по имени Лукреция, на которой женился Нума, бывши уже царем. Все в том согласны, что Помпилия вышла замуж за Марция, сына того Марция, который убедил Нуму принять царство; он переселился в Рим вместе с ним, почтен был достоинством сенатора и после кончины Нуминой был соперником Тулла Гостилия, помогавшегося царской власти, но, будучи принужден уступить ему, умертвил себя. Сын его Марций, женившийся на Помпилии, оставался в Риме и произвел в свет Анка Марция, вступившего на престол после Тулла Гостилия.

Ему было пять лет, когда Нума кончил жизнь свою смертью не скоропостижной, или неожиданной, но увядая мало-помалу от старости и изнеможения, как пишет о том Пизон. Жизнь его продолжалась немного более восьмидесяти лет. Союзные и дружественные народы почтили его в самом гробе. Они притекли на его погребение с общественными дарами и венцами; патриции подняли одр; все жрецы присутствовали и сопровождали его. Толпа жен и детей следовала за ними с воплем и рыданиями, как бы погребали не царя старого и немощного, но любезнейшего человека, кончившего жизнь в самом цвете лет. Тело его не было предано огню*, он сам сего не хотел; сделаны были два каменные гроба и зарыты под Яникулом. В один из них положено его тело, в другой священные книги, писанные им, подобно греческим законодателями, на таблицах. Еще при жизни своей научил он жрецов тому, что эти книги содержали, истолковал силу их и смысл и приказал погребсти их с собой, почитая непристойным, чтобы важные тайны содержимы были в мертвых письменах. По этой самой причине и пифагорейцы не предали писанию своих мыслей, но впечатлевали оные в памяти достойнейших и приучали к тому словесно. Когда некоторое сочинение, содержащее тайные геометрические задачи, было сообщено одному недостойному человеку, то пифагорейцы говорили, что божество накажет за это преступление и нечестие каким-либо великим и необыкновенным бедствием. Все это заставляет извинить тех, кто, при стольких сходствах, старается доказать, что Пифагор и Нума имели некогда свидание между собой.

Валерий Антиат пишет, что двенадцать книг о священнодействиях и двенадцать книг философских, на греческом языке писанных, положены были в гроб. По прошествии четырехсот лет, во время консульства Публия Корнелия и Марка Бебия*, большие дожди, смыв землю, открыли эти гробы. По вскрытии их один найден совершенно пустым, без малейшего остатка

тела. В другом обретенны писания, которые прочтены были тогдашним претором Петилием. Он объявил сенату, что не почитает дозволенным издать в народ эти книги, и по его представлению они были сожжены в Комитии.

Всех правдивых и добрых людей хвалят обыкновенно более по смерти; зависть переживает их ненадолго; она нередко прежде их умирает. Славе этого государя придает больше блеска несчастный жребий следовавших царей. Из пяти, после него бывших, последний был лишен престола и состарился в изгнании. Ни один их четырех других не умер своею смертью. Трое последних умертвлены злоумышленным образом. Тулл Гостилий, преемник Нумы, издевавшийся над лучшими его учреждениями, особенно же над свойством бездейственным и женоподобным, обратил граждан к брани. Но недолго пребыл в этих буйных мыслях. Опасная и странная болезнь заставила его перемениться во мнении и ввергла в суеверие, нимало не похожее на благочестие Нумы. Он укоренил в других это заблуждение, когда гром, как говорят, поразил его*.

Сравнение Ликурга с Нумой

Описав жизнь Нумы и Ликурга, постараемся представить, несмотря на все затруднения, примечаемое между ними различие. Общие их черты показываются из их качеств, каковы суть мудрость, благочестие, способность управлять и наставлять народы, равно как и то, что они оба получили от богов начала своего законодательства. Касательно особенных хороших свойств, в них примечательно, во-первых, в Нуме – получение власти, в Ликурге – уступка оной. Один получил ее, не искавши; другой отдал ее, имев в своих руках. Один из частного лица и чужестранца избран был чужим народом в государя, другой сделал сам себя из царя частным лицом. Великое дело приобрести царство правотой, еще большее предпочесть правоту царству. Добродетель сделала одного столь славным, что он был удостоен царской власти; другого – столь великим, что он пренебрег этой самой властью.

Во-вторых, подобно как гармонию лиры, один в Спарте превратил из сладострастной и изнеженной в важную; другой в Риме смягчил ее суровость и грубость. Трудность подвига на стороне Ликурга. Он убедил граждан своих не броню снять и не мечи оставлять, но отказаться от золота и серебра, изгнать великолепные столы и мягкие ложа. Не заставил их отстать от военных действий, отправлять празднества и приносить жертвы; но научил, оставив пиршества и забавы, заниматься оружием и упражняться в телесных подвигах. Вот почему один все делал при помощи одного убеждения, пользуясь почтением и приверженностью граждан; другой едва достиг своей цели, подвергнувши опасностям жизнь и получивши рану. Муза Нума кротка и человеколюбива; она смягчила стремительные и пламенные свойства граждан и обратила их к миру и справедливости. Если кто нас принудит включить в число Ликурговых узаконений постановление об илотах, самое жестокое и незаконное, то мы должны будем тогда признаться, что Нума более заслуживает звания греческого законодателя. Он позволил и настоящим рабам вкушать сладость свободы, введши в обыкновение на Сатурновых празднествах садиться им за одним столом с своими господами.

Говорят, что это есть одно из постановлений Нумы, который хотел, чтобы годовыми плодами наслаждались и участвовавшие в полевых работах. Некоторые уверяют, что этот обычай есть остаток равенства Сатурновых времен*, когда не было ни слуг, ни господ, но все почитали себя равными и родственниками.

Оба эти законодателя равно ведут народы к довольству и умеренности; но изю всех добродетелей один, кажется, более возлюбил доблесть, другой правосудие. Может быть, разность нравов и правления обоих народов причиной тому, что надлежало употребить способы и средства различные. Нума не по робости понудил римлян оставить войну, но по желанию отвлечь их от неправосудия; и Ликург не для того сделал спартанцев воинственными, чтобы они оби-

жали других, но чтобы их не обижали. Таким образом, оба они, истребляя излишество и дополняя недостатки в гражданах, принуждены были ввести величайшие перемены.

Касательно разделения состояний граждан: кажется, распоряжения Нумы слишком благоприятствуют простому народу и демократии. Он составил народ весьма разнообразный, смешанный из золотарей, кожевников, сверлильщиков и проч.; напротив того, Ликурговы распоряжения строги и приличны аристократии. Все ремесла предоставил он рабам и пришельцам; самых граждан ограничил щитом и копьем; сделал их, так сказать, ремесленниками брани и служителями Марса; единственное их значение и упражнение состояло в том, чтобы повиноваться начальниками и покорять врагов. Он не позволил вольным (дабы они в самом деле и всегда были вольны!) накапливать богатства. Это попечение было уделом илотов и других рабов, равно как приготовление кушанья и прислуга. Нума не сделал никакого подобного различия. Он укротил страсть к войне, но не уничтожил корыстолюбия. Не только не истребил неравенства, но позволил умножать богатство до бесконечности; он пренебрегал возрастающей и умножающейся в городе бедностью. Ему надлежало при самом начале, когда неравенство было не столько ощутительно и велико и состояния были между собой в равновесии, восстать против жадности к богатству, подобно Ликургу, и предупредить бедствия, от оной происходящие, которые были немаловажны. Они-то были корнем и началом всех великих зол и несчастий, которые впоследствии обрушились на главу Рима.

Касательно земли не должно осуждать ни Ликурга за то, что он разделил ее, ни Нуму за то, что ее не делил. Одному послужило равенство раздела основанием и утверждением устанавливаемого им правления; другой, по причине незадолго перед тем учиненного раздела, не имел нужды делать нового, ибо прежний, конечно, оставался еще в силе.

Оба они благоразумно хотели истребить ревность, введши общие супружества и общих детей; но не употребили одинаковых средств. Римлянин, имевший довольно детей, быв убежден согражданином, желающим также иметь их, уступал жену свою. От него зависело отдать ее навсегда или взять обратно. Лакедемонянин, напротив того, оставляя жену при себе и сохраняя права супружеского союза, делал другого участником своего ложа для получения детей. Многие, как сказано прежде, сами вводили к себе тех, от которых надеялись иметь здоровых и прекрасных детей. Какая же разность между этими постановлениями? Не показывается ли в лакедемонском обычае великое и неограниченное равнодушие к жене, ко всему тому, что большую часть людей мучит и заставляет жить в печали и жестокой ревности? В римском же – некоторая стыдливая скромность, которая употребляет брачное обязательство, как завесу, изъясняя, сколь для нее жестоко и несносно это соучастие.

Нума также предписал строгое смотрение за девицами, дабы они жили благопристойно, свойственно своему полу. Напротив того, Ликург дал им свободу, каковая неприлична женщинам, и тем навлек на них посмеяния стихотворцев. Они называют их с Ивиком «феномиридами», то есть «обнажающими бедра», а с Еврипидом «андроманами», или «страстными к мужчинам». Этот стихотворец пишет о них:

Родительски дома пустыми оставляют;
Их всюду юношей толпы сопровождают.
Наги суть бедра их; одежды распущены.

В самом деле, края девической одежды не были снизу защиты, но во время шествия раскрывались и обнажали все бедро – что ясно доказывается следующими стихами Софокла:

Раскрытая одежда
Вкруг нежного вьется
Младой Гермiony

Прекрасного бедра.

По этой причине были они, как говорят, дерзки и против мужей своих слишком смелы, ибо управление домом зависело от них совершенно, а в общественных важнейших делах подавали свои мнения и имели свободу говорить. Нума сохранил честь и уважение, которыми со времени Ромула пользовались жены от мужей своих, которые старались им угождать, дабы загладить воспоминание о их похищении. Однако оградил их стыдливостью, отнял любопытство, приучил к трезвости и молчанию. Они совершенно воздерживались от вина*, не смели говорить общенародно о самых необходимых делах. Однажды некоторая женщина говорила речь в Собрании о своем деле. Сенат отправил посланников к прорицалищу, дабы узнать, что предзнаменовало это республике. Доказательством покорности и кротости римских женщин есть то, что сохранены имена тех, кто этими свойствами не отличался. Подобно как наши бытописатели предают памяти имена людей, которые первые возбудили войну междоусобную, вооружились против братьев своих, умертвили отца или мать, так римские упоминают о том, что Спурий Карвилий первый развелся с женой; в продолжение же двухсот тридцати лет по основании Рима ничего подобного этому не случилось; и что Талия, Пинариева жена, в царствование Тарквиния Гордого первая поссорилась с своею свекровью. Столь счастливо и пристойно законодатель учредил супружество!

Воспитание девиц продолжалось до того времени, в которое их выдавали замуж. Ликург повелел выдавать их в цветущих и пылких летах, дабы связь эта, сделанная по требованию природы, положила начало взаимной привязанности и дружбе, а не страху или ненависти, как то бывает, коль скоро принуждают природу. При том же в этих летах они могут уже переносить беременность и роды, ибо Ликург рождение детей полагал единственной целью брака. Напротив того, римляне выдавали замуж девиц двенадцати лет и моложе, дабы они предаваемые были мужьям своим чистыми и непорочными как телом, так и нравами. Учреждение первого – согласие с природой и способствует рождению детей; второго же – нравственное и более благоприятствует сожительству.

Что касается до попечения о детях, до их собраний, до образа воспитания, до сообщества, до учреждения столов, телесных их упражнений и забав, то Ликург доказал, что Нума в этом не превосходит самого обыкновенного законодателя. Этот позволил отцам воспитывать детей своих по своему желанию или по своей нужде. Отец мог сделать своего сына либо земледельцем, либо плотником, либо кузнецом, либо свирельщиком, как будто бы не нужно было всем стремиться к одной общей цели и достигать оной своими поступками. Оттого они походили на путешественников, которые собрались на один корабль с разными намерениями и нуждами и только при наступающей опасности, когда каждый стремится за себя, соединяются для блага общего; без этого каждый думает только о себе. В недостатках постановления можно извинить законодателей обыкновенных по причине их невежества, или слабости; но человеку мудрому, восприявшему царскую власть над народом, незадолго перед тем собравшимся и не противившимся ему ни в чем, на что надлежало бы прежде всего обратить внимание, как не на воспитание детей и на учение юношей, дабы они не получили разных нравов, не сделались беспокойными, но были бы с самого начала, так сказать, вылиты в одну форму добродетели и одинаково образованы? Именно это способствовало Ликургу во многом, более же всего – к сохранению его уставов. Страх клятвы, ему данной, был бы недействителен, если бы воспитание и наставления не напечатлели законов во нравах юношей и вместе с пищей не вложили в них любви к гражданским его постановлениям. По этой причине важнейшие и главнейшие его законы имели всю силу более пятисот лет, подобно краскам, твердо и глубоко вошедшим в полотно. Учреждения Нумы, имевшие целью то, чтобы Рим пребыл в мире и спокойствии, исчезли вместе с ним. По кончине его Храм Брани, при нем всегда затворенный (как бы в самом деле брань была им заключена и укрошена), был отворен с обеих сторон и вся Италия

обагрилась кровью и покрылась трупами*. Прекрасные и справедливейшие его постановления существовали только самое короткое время, ибо недоставало лучшей подпоры – воспитания. Но, скажет иной, не войной ли возвысилась Римская держава? Такой вопрос требует долгого ответа, особенно когда говорить должно с людьми, которые благополучие государства ставят более в богатстве, в роскоши, в обширности владений, нежели в безопасности, в спокойствии, в довольстве, соединенном со справедливостью. Однако к славе Ликурга может послужить и то, что римляне, оставивши учреждения Нумы, достигли высочайшей степени славы, а лакедемоняне, едва лишь преступили Ликурговы постановления, пали с высоты своей, потеряли всю власть над Грецией и были на краю совершенной гибели. Подлинно, велико и божественно в Нуме то, что он, бывши чужестранцем, призванным на царство, мог все переменить одним убеждением; что управлял обществом, еще не соединившимся с самим собой, не употребив ни оружия, ни насилия, подобно Ликургу, вооружившему вельмож против народа, и что, наконец, он все соединил и устроил силой своей мудрости и справедливости.

Солон и Попликола

Солон

Грамматик Дидим в возражении своем Асклепиаду о законах Солоновых приводит слова некоторого Филокла*, который отца Солона называет Эвфорионом, вопреки мнению всех других, упоминающих о Солоне, называющих единогласно отца его Эксекестидом. Он был человек посредственного состояния, но знаменитейшего рода и происходил от Кодра*. Его мать, по свидетельству Гераклида Понтийского*, была двоюродная сестра матери Писистрата.

Солон и Писистрат сначала были соединены теснейшей дружбой по причине своего родства. Притом красота и дарования Писистрата привлекали к себе любовь Солона. Это, кажется, было причиной, что в раздоре, происшедшем впоследствии между ними о правлении, вражда их не произвела жестокой и свирепой ненависти. В душах их остались неразрывными первые связи и, подобно яркой искре сильного огня, сохранили неизменными память и приятность первой их дружбы.

Впрочем, Солон не был тверд против красоты и не имел довольно силы, подобно «искусному бойцу»*, бодро стоять против любви. Это видно как из его стихотворений, так и из закона, им установленного, которым запрещалось рабам тереться сухой мазью* и любить прекрасных. Он ставит это в число пристойных и похвальных занятий и некоторым образом призывает достойных к тому, что возбраняет недостойным. Говорят, что Писистрат любил Харма и что поставил в Академии кумир Эроса в том месте, где зажигали священные факелы при беге во время торжеств*.

Отец Солона, как повествует Гермипп, уменьшил свое имение щедростью и деяниями человеколюбивыми. Хотя много было таких, которые охотно желали помочь Солону, но он, исходя от рода, привыкшего помогать другим, стыдился получить от других помощь и еще в молодости своей вступил в торг. Некоторые говорят, что Солон странствовал не для обогащения своего, но для снискания большей опытности и познаний. Все согласны в том, что он любил мудрость и в глубокой старости говорил, что стареет, но всегда многому еще учится. Он не ценил богатства и в «Элегиях» своих говорит:

Богат, кто множество сребра имеет, злата;
Обильной жатвою покрытые поля;
На чьих лугах стада волов пасутся тучных
И кони быстрые – богат. Богат и тот,
Кто только сыт, одет, спокойно спать ложится.
Но сколь счастливее, блаженней он стократ,
Подруга коль его млада, мила, прекрасна.

В другом месте пишет:

Люблю богатство я и золотом прельщаюсь;
Несправедливостью стяжать его гнушаюсь.
Напрасно тщишься ты неправдой пробрести:
Несправедливого богов постигнет месть.

В самом деле, честному человеку, занимающемуся управлением государства, ничто не препятствует приобретать излишнего или пренебрегать употреблением того, что нужно и

полезно. В те времена, чтобы употребить слова Гесиода*, в работе не было стыда, и никакое звание не делало различия между людьми. Торговля была в почтении, ибо она доставляет нам произведения иностранных народов, рождает союзы между царями и дает нам многообразные познания. Некоторые купцы сделались основателями великих городов, подобно Протису, построившему Массалию, который приобрел любовь кельтов, обитавших по реке Родан*. Говорят, что торговлей занимались мудрый Фалес и математик Гиппократ; а Платон путешествовал по Египту с деньгами, полученными там от продажи масла.

Впрочем, торговую жизнь полагают причиною расточительности Солоновой, склонности его к неге и неприличной философу в стихах его вольности, с какою говорит он об удовольствиях. Торговая жизнь, будучи сопряжена со многими и великими опасностями, требует некоторого наслаждения, некоторых забав. Что Солон, однако, полагает себя более в число бедных, нежели богатых, то видно из следующих его стихов:

Сколь часто в роскоши, богатстве злой живет,
А добрый в нищете страдает, слезы льет;
Но злато с доблестью не может быть сравненно.
Сия в век не умрет – оно проходит, тленно.

Вначале упражнялся он в стихотворстве без важного намерения – для одной забавы и приятного препровождения праздного времени. Впоследствии излагал в стихах своих философические мысли и поместил в них многое, касающееся до управления – не для истории и предания памяти, но для оправдания поступков своих. В стихах его также содержатся увещания, советы и упреки, делаемые афинянам. Некоторые говорят, что он хотел написать законы свои стихами и приводит начало их, которое есть следующее:

Тебя, отца богов, царя всея вселенной,
Мы молим, чтоб закон, днесь нами утвержденный,
Ты славой увенчал и счастьем благим.

Подобно мудрецам того времени, возлюбил он ту часть нравственной философии, которая касается политики. В физике он слишком прост и ограничен в знаниях своих, как видно из следующих стихов:

Из хладных облаков родится снег и град;
Блестяща молния удар рождает грома;
Неистовством ветров волнуются моря,
Коль волны их ничем извне не возмутятся,
Спокойнее морей ничто не может быть.

Вообще кажется, что в то время только одна Фалесова мудрость превысила умозрением обыкновенные понятия тогдашних людей; другие назывались мудрецами только по причине искусства их в политике.

Говорят, что эти мудрецы сошлись некогда в Дельфах, потом в Коринфе, куда Периандр* созвал их и угостил. Еще более важности и славы придала им пересылка треножника от одного к другому, когда каждый с великой скромностью принять его отказывался. Повествуют, что рыбаки острова Косс* закинули сеть, за что заплатили некоторые милетские жители. Вытащив ее, нашли золотой треножник, брошенный некогда в то место возвращавшеюся из Трои Еленой, которая вспомнила некое древнее прорицание. Между рыбаками и чужеземцами произошел спор о треножнике; города их приняли в том участие и дело дошло до войны. Пифия

повелела отдать этот треножник мудрейшему. Сперва отослали его к Фалесу в Милет; коские граждане дарили по своей воле одному Фалесу то, что оспаривали у всех милетян вместе. Фалес, признавая Бианта умнее себя, отослал треножник к нему. Биант переслал его к другому, яко мудрейшему. Таким образом, переходя из рук в руки, вторично прислан был к Фалесу, наконец отнесен в Фивы и посвящен Аполлону Исменскому. Но Феофраст говорит, что треножник был сперва послан в Приену* к Бианту, который передал его Фалесу, и таким образом, переходя от одного к другому, возвращен был Бианту и наконец отослан в Дельфы. Это происшествие большей частью так повествуется, выключая того, что, по уверению некоторых, то был не треножник, а кубок, посланный Крезом; по другим же – чаша, оставленная Бафиклом*.

Повествуют также о частном разговоре и свидании Солона с Анахарсисом*, потом и с Фалесом. Анахарсис по прибытии своем в Афины, придя к дому Солона, постучал и сказал, что, будучи чужеземец, пришел завести с Солоном дружбу и взаимное гостеприимство. Солон отвечал: «Лучше заводить дружбу у себя дома». – «Но ты дома, у себя, – отвечал Анахарсис, – и так заключи со мною союз дружбы и гостеприимства». Солону столько понравилось остроумие его, что принял его дружелюбно и несколько времени держал в своем доме. В тогдашнее время Солон управлял общественными делами и сочинял законы. Анахарсис, узнав о том, смеялся над предприятием Солона, который надеялся удержать граждан от несправедливости и любостязания написанными законами. «Эти писания, – говорил он, – подобны паутине; слабые и мелкие, в нее попавшиеся, увязнут; сильные и богатые удобно ее прорвут». Солон на это отвечал, что люди соблюдают установленные между ними договоры, когда в нарушении их некоторая сторона не находит пользы своей; что он так приноравливает законы к гражданам, чтобы все уверились, что полезнее исполнять законы, нежели нарушать их. Но последствия оправдали мнение Анахарсиса и обманули надежду Солона. Анахарсис, будучи некогда в Народном собрании, сказал: «Для меня удивительно, что среди греков говорят мудрые, а судят невежды».

Солон, приехав в Милет к Фалесу, удивлялся тому, что сей мудрец не хотел никогда жениться и иметь детей. В тогдашнее время Фалес на это не отвечал ничего; но по прошествии немногих дней подвел чужестранца, который сказывал, будто за десять перед тем дней выехал из Афин. Солон спрашивал у него: «Нет ли в Афинах чего нового?» Чужеземец, будучи подучен Фалесом, сказал, что нового ничего не случилось – кроме смерти одного юноши, на похоронах которого находился весь город, ибо, как говорили ему, то был сын мужа славного и добродетелями знаменитого среди граждан, давно отправившегося в чужие земли. «Несчастный отец! – сказал Солон. – Но как его называли?» – «Я слышал его имя, – продолжал незнакомец, – но оно вышло у меня из памяти; я помню лишь то, что много говорили об его мудрости и справедливости». При каждом слове страх Солона умножался; наконец, исполненный смущения, сам сказал чужестранцу свое имя и спросил его: «Не Солонов ли был сын умерший юноша?» Чужестранец подтвердил это, и Солон начал бить себя в голову, говорить и делать то, чем обыкновенно изъясняют великую горесть. Фалес, взяв его тогда за руку и усмехнувшись, сказал: «Вот, Солон, что удерживает меня от брака и от желания иметь детей, – то самое, что и тебя, твердейшего человека, повергает на землю. Но ободрись, все это выдуманно, что ты теперь слышал». Это повествует, по свидетельству Гермиппа, Патек*, который уверял, что Эзопова душа жила в нем.

Впрочем, тот безрассуден и малодушен, кто не хочет приобретать нужного, опасаясь одного лишиться. Таким образом, никто бы не захотел ни славы, ни богатства, ни мудрости, потому что может все это потерять. Мы видим, что и добродетель, которой стяжание всего выше и сладостнее, от болезни и яду гибнет и теряется. Фалес, и не женившись, не сделался нимало безопаснее; разве он не хотел иметь ни друзей, ни родных, ни отечество? Однако ж говорят, что он усыновил сына сестры своей Кибисфа. Душа имеет в себе природную склонность к любви; она столь же способна чувствовать, рассуждать, помнить, как и любить. Не имея ничего собственного, она прилепляется к чужому. Посторонние и, так сказать, побочные, уго-

ждая человеку чувствительному, вкрадываются в его сердце, обладают им как бы домом или поместьем, не имеющим законных наследников, и, внушая ему любовь к себе, заставляют его о себе заботиться и страшиться их потери. Нередко видим, что люди, изъявляющие отвращение от брака и детей, бывают мучимы горестью, испускают недостойные благоразумного вопли, когда дети их рабынь или наложниц впадают в болезнь и умирают. Некоторые смертью собак и лошадей были доведены до постыдной печали и не хотели более жить, между тем как другие, потеряв достойных детей, не предали себя печали, не сделали ничего непристойного и остаток дней своих провели с твердостью и благоразумием. Не любовь, но слабость наводит бесконечные печали и страхи людям, которых рассудок не утвердил против ударов рока, которые не могут наслаждаться настоящим желаемым благом, ибо страх лишиться его в будущем всегда ввергает их в уныние, в ужас. Но не должно предавать себя нищете из страха лишиться имущества; быть нечувствительным к дружбе, боясь потерять друзей своих; жить бездетным потому, что дети могут умереть. Рассудок должно противопоставлять всему. Но этого уже слишком много в сочинении такого рода.

Афиняне, утомленные долгой и разорительной против мегарян войной за остров Саламин, наконец утвердили законом, чтобы никто не делал предложения и не говорил более о завоевании Саламина – под смертной казнью. Солон, не терпя сего бесславия и приметив, что молодые люди желали возобновить войны, но, боясь закона, не смели предложить о том народу, притворился сумасшедшим. Из дома его по всему городу распространился слух, что Солон лишился ума. Между тем он сочинил элегическое стихотворение и, вытвердив наизусть, дабы говорить оное перед народом, внезапно выбежал на площадь с покрытой головою*. Народ окружил его. Солон стал на камень провозвестника и воспевая произнес элегию, которая начинается так:

Сам прибыл вестником, несомый я волнами,
Из Саламина днесь прекрасный, и пред вами
Я песнь произнесу, а не простую речь.

Это стихотворение, называемое «Саламин», состоит из ста прекрасных стихов. Друзья Солон начали хвалить оное, и Писистрат в особенности увещевал и побуждал граждан слушаться слов Солоновых. Закон был уничтожен; предпринята война, и поручено вести ее Солону.

О войне сей обыкновенно рассказывают следующее: Солон отправился вместе с Писистратом к мысу Колиада*, где все афинские женщины приносили по установленным законам жертвы Деметре. Он послал в Саламин верного человека, который, притворяясь беглецом, уверил мегарян, что они могут поймать жен знаменитейших афинян, если поспешат за ним к Колиаде. Мегаряне, убежденные его словами, выслали войнов на корабле. Солон, увидя отплывавший от Саламина корабль их, велел женщинам удалиться, а молодых и еще безбородых людей нарядил в женское платье, в женские головные уборы и обувь и, спрятав кинжалы под одеждою их, велел играть и плясать на берегу морском, пока неприятели выйдут из судна и афиняне завладеют ими. Между тем как это происходило, мегаряне приблизились, пристали к берегу, вышли из судна и наперерыв спешили ловить женщин. Никто из них не спасся; все погибли; афиняне отплыли немедленно к Саламину и овладели островом.

Другие повествуют, что Солон не таким образом завладел Саламином, но что Дельфийский бог сперва дал ему следующий ответ:

Ты жертвой успокой вождей той страны,
Героев, чьи тела на берегах Асопа*
На заходящие лучи взирают солнца.

Солон отправился ночью к острову, принес жертву героям Перифему и Кихрею; потом взял пятьсот афинян, добровольно за ним последовавших и, утвердив законом предать им управление Саламина, если им завладеют, отплыл на многих рыбацких лодках, за которыми следовала тридцативесельная триера, и пристал к Саламинской губе, обращенный к Эвбее. Находившиеся на Саламине мегаряне, получив неверные о том сведения, в беспорядке бросились у оружие и между тем отправили для осмотра неприятелей судно, которое приблизилось к афинскому и было перехвачено. Солон велел связать бывших на нем мегарян, посадил вместо них отважнейших афинян и приказал им плыть к городу, скрывая себя как можно больше. В то же время, взяв с собою других афинян, устремился сухим путем на мегарян. Сражение началось; между тем посаженные на судне успели завладеть городом. Это предание подтверждается некоторым древним обыкновением, а именно: афинское судно подвигалось к острову сперва в молчании, потом приближалось к берегу с шумом и восклицаниями. Вооруженный воин сходил на землю и с громким криком нападал у мыса Скирадия на идущих против него с твердой земли. Близ этого места сооружен Солоном храм Эниалию, ибо здесь разбил он мегарян. Оставшихся после сражения отпустил по договору.

Однако мегаряне упорствовали в намерении возвратить сей остров. Они причиняли афинянам много зла и взаимно от них претерпевали. Наконец обе стороны согласились избрать судьями и посредниками лакедемонян. Многие говорят, что слава Гомера вспомоществовала в том случае Солону.

К описанию греческих кораблей, сделанному этим стихотворцем, прибавил он один стих, который читал перед судьями в пользу афинян.

Двенадцать вел судов Аякс из Саламина
И подле воинов стал Афины премудрой*.

Афиняне почитают все это пустословием. По их словам, Солон доказал судьям, что Филей и Эврисак, сыны Аякса*, были приняты в число граждан и предали остров сей афинянам; один из них поселился в Бравроне, другой в Мелите. От Филея получило название племя Филаидов, от которого происходит Писистрат. Он доказал еще несправедливость требования мегарян, ссылаясь на то, что в Саламине погребают мертвых по обычаю афинян, а не по обычаю мегарян. Первые хоронят мертвого, обратив его к западу, другие обратив к востоку. Однако мегарянин Герей отвергает это тем, что и мегаряне хоронят мертвых, обращая тела их к западу. Важнейшее же доказательство против Солона то, что каждый афинянин имеет свою могилу; а у мегарян в одной могиле лежат по три и по четыре человека. Впрочем, говорят, что Солону в сем деле помогли и некоторые пифийские прорицания, в которых Саламин назван островом Ионийским*. Судьями в оном были спартанцы Критолайд, Амомфарет, Гипсихид, Анаксилай и Клеомен.

Столь счастливый успех прославил и возвеличил Солона; но более возвысился он и приобрел уважение греков своей речью о дельфийском храме. В ней доказал он, что должно подать помощь прорицалищу и не допустить кирреян* ругаться над ним; что ради дельфийского Аполлона надлежит защитить и дельфов. Убеденные Солоном амфикионы объявили кирреям войну, как свидетельствуют многие, среди других и Аристотель, который в сочинении своем «Список победителей на Пифийских играх» приписывает Солону это предложение. Однако не был он избран полководцем в войне этой, как, по свидетельству Гермиппа, говорит Эванф Самосский. Оратор Эсхин не говорит о том, и в записках дельфийских Алкмеон, а не Солон показан полководцем афинским.

Уже с давнего времени месть богов преследовала афинян за то, что прибегших к храму Минервы сообщников Килона* архонт Мегакл убедил предстать перед судом. Они привязали

нитку к кумиру богини и держались за нее. Но едва приблизились таким образом к храму Эвменид, как нитка оборвалась сама собою; Мегакл и его товарищи схватили их под предлогом, что богиня отвергла их моления. Пойманные вне храма были закиданы камнями; прибежавшие к жертвенникам были умерщвлены при их подножии. Спаслись только те, кто прибежал к женам правителей. Архонты за это злодеяние называемы были «проклятыми» и всеми были ненавидимы. Оставшиеся Килоновы сообщники со временем усилились и всегда были в раздоре с Мегакловыми. В тогдашнее время раздор достиг последней степени, и народ разделился на две части. Солон был уже в великой славе; он предстал перед народом со знаменитейшими афинянами, просил и увещевал тех, кто почитался «проклятым», предаться суду трехсот знаменитых мужей. Мирон из Флии обвинял их. Живые были осуждены и изгнаны; кости прежде умерших были вырыты и выброшены за границы Аттики.

В этих беспокойствах мегаряне напали на афинян, отняли Нисею* и возвратили Саламин. Между тем Афины были возмущаемы суеверным страхом и разными призраками. Прорицатели объявляли по принесенным жертвам, что город осквернен злодеянием и что надлежало очистить его. Призван был с Крита Эпименид из Феста*, которого полагают седьмым мудрецом тех, которые не признают таковым Периандра. Этот муж почитался боголюбивым и весьма сведущим в мудрости энтузиастической и мистической. По этой причине называем был тогдашними людьми сыном нимфы Бласты и новым куретом*. По прибытии своем в Афины Эпименид соединился дружбой с Солоном, вспомоществовал ему и проложил дорогу к введению его законодательства. Он уменьшил расходы афинян при жертвоприношениях, заставил их в сетованиях по умерших быть спокойнее* и, присоединив к погребениям некоторые жертвы, отменил жестокие и варварские обыкновения, которым при таких случаях следовали женщины. Но всего важнее то, что умиловительными жертвами, очищениями, сооружением жертвенников очистил и осветил город, заставил граждан быть послушными справедливости и более склонными к единодушию. Говорят, что Эпименид, увидя пристань Мунихию, долго смотрел на нее и сказал предстоявшим: «Как слеп человек в отношении к будущему! Если бы афиняне предвидели зло, имеющее произойти от этого места, то сгрызли бы оное своими зубами»*. Уверяют, что Фалес предвидел нечто подобное. Он велел похоронить себя в Милете на месте самом дурном и презренном, предсказав при том, что оно будет некогда форумом милетян. Эпименид приобрел почтение и удивление афинян; они хотели оказать ему великие почести и принести много даров. Он не принял ничего, только просил у них одной ветви из священного масличного древа* и, получив ее, возвратился в свое отечество.

По укрощении Килонова мятежа и изгнании «проклятых» афиняне впали в прежние раздоры о правлении республики. Город был разделен на столько разных сторон, сколько область имела разных местоположений. Диакрии, или жители нагорные, весьма были склонны к народоправлению. Педиэи, или полевые, желали одного правления вельмож. Паралы, приморские, требуя правления среднего и смышленного, препятствовали и тем и другим господствовать. Неравенство между бедными и богатыми тогда дошло до крайности. В этом опасном состоянии города, казалось, не было другого средства укротить раздоры и восстановить спокойствие, как прибегнуть к единоначалию. Весь простой народ был должником богатых. То обрабатывая земли их, бедные платили им шестую часть произведений и оттого назывались «гектемо-рами» («шестидольными») и наемниками; то брали у них деньги, закладывая себя, – и заимодавцы превращали их в рабов, заставляя работать на себя, или продавали их в чужой земле. Многие принуждены были продавать детей своих. Никакой закон того не возбранял. Они должны были оставлять город, дабы избежать жестокости заимодавцев. Но большая часть из отважнейших из них собрались, увещевали друг друга не терпеть долее этой жестокости, но избрать верного человека в предводители, освободить всех тех, кто не мог в срок заплатить долгов, сделать новое разделение земли и преобразить совершенно правление.

Тогда благоразумнейшие из афинян, ведая, что Солон один не участвовал в проступках ни одной стороны, не будучи сообщником богатых в несправедливости, ни угнетенным нуждою, как бедные, просили его принять на себя правление и укротить раздор. Фаний Лесбосский* повествует, что Солон сам употребил обман против обеих сторон для спасения республики, обещав бедным новое разделение земли, богатым же – утверждение долгов. Однако Солон говорит, что сперва не мог решиться принять правление республики, боясь любостязания одних, а наглости – других. Он избран был архонтом после Филомброта и вместе с тем общим примирителем и законодателем. Богатые охотно приняли его как богатого, бедные – как добродетельного. Говорят также, что прежде разнесшиеся его слова, будто равенство не производит войны, нравились богатым и бедным. Одни ожидали получить равенство достоинством и добродетелью, другие числом своим и мерою. Обе стороны были в великой надежде; предводители их приступали к Солону, побуждая его соделаться самодержавным, и советовали ему действовать с большею смелостью, имея уже всю власть в своих руках. Даже многие из неприставших ни к одной стороне, видя, сколь было трудно произвести перемену здравым рассудком и законами, склонны были к тому, чтобы вручить верховную власть одному, самому справедливому и благоразумному. Некоторые говорят, что Солон получил и от Аполлона следующие прорицания:

Прими кормило ты и прави кораблем;
Найдешь помощников в сем подвиге своем.

Более всех упрекали его друзья, что он страшился имени «тирании», как будто эта власть добродетелью правителя не превращается в царскую, как то и случилось прежде в Эвбее и в его время – в Митилене. На первом острове Тиннонд, а в другом – Питтак* избраны были тираннами. Но ничто не поколебало Солона; он сказал друзьям своим, что тирания есть прекрасная страна, но не имеющая выходов. Фоку писал он следующее:

Что я отчество драгое пощадил,
Отверг тираннску власть, насильство кровожадно
И славе прежней я своей не изменил?
Я не стыжусь сего! Горжуся тем стократно.
И в том уверен я, что славою своей
Превысил ныне всех в подсолнечной людей.

Из этого явствует, что и до издания законов слава его была велика. Касательно же того, что многие смеялись его отвращению от верховной власти, Солон пишет сам о себе так:

Не должно мудрым счесть Солона, ни великим.
Бесценный дар богов отрекся он принять.
Корысть богатая хоть в сеть ему попалась,
Но вытащить ее на берег он не смог.
Я лучше бы хотел, стяжав богатства многи,
В Афинах царствовать хотя б единый час.
Пусть бы от сего весь род пропал бы мой;
Пусть в поношении, мучениях и сраме
Окончил бы потом свои несчастны дни.

Вот что заставляет он говорить о себе народ и низких людей! Однако, отвергнув насильственную власть, он не употреблял в правлении средств излишне кротких, не уступал с покор-

ностию сильным и не составлял законов в угождение избравшим его. То, что было хорошо, оставил он по-прежнему, не употребив врачевания, не сделав никакой перемены, опасаясь, что, смешав все и расстроив, он не будет после в состоянии паки устроить и привести в лучшее состояние. Он вводил те только перемены, к которым надеялся склонить сограждан словами или принудить властью, соединив, как говорит сам, правосудие силою. Когда впоследствии спросили его: «Лучшие ли данные им афинянам законы?», Солон отвечал: «Лучшие из тех, какие они могли принять».

Афиняне, как замечают некоторые из новейших, неблагопристойность и жесткость многих вещей прикрывают с тонкостью именами снисходительными и приятными; так, например, распутных женщин называют приятельницами; налоги – вспоможением; охранное войско – стражею; темницы – покаями. Это изобретено, по-видимому, Солоном, который уничтожение долгов назвал облегчением, отвержением тяжести, сисахфией*.

Первым своим постановлением он уничтожил настоящие долги и запретил впредь закладывать себя. Однако некоторые, среди которых и Андротион*, пишут, что уменьшением лихвы, а не уничтожением долгов бедные были довольны и назвали облегчением человеколюбивое это постановление – равно как и увеличение мер и возвышение монеты, ибо мина, стоившая прежде семьдесят три драхмы, оценена им во сто, так что, платя числом столько же, но ценою менее, должники получали великую выгоду, а заимодавцы ничего не теряли.

Но большинство писателей утверждает, что облегчение это было уничтожением всех долгов, что согласнее с стихотворениями Солона. Он хвалится в них тем, что «снял поставленные всюду знаки заложенных полей; оные до того находились в неволе, и он сделал их свободными; из заложенных граждан одних возвратил в отечество из страны чуждые, забывших уже природный язык свой, блуждавших по разным землям; другим, в отечестве своем преданным жестокой участи рабства, возвратил свободу».

Повествует, что случилось с ним нечто весьма неприятное при издании этого закона, когда решился он уничтожить долги, между тем как изыскивая пристойные этому речи и приличное начало, сообщил свое намерение тем из друзей своих, которым более доверял и советы которых принимал, каковы были Конон, Клиний и Гиппоник; он объявил им, что не переменит ничего в разделе земель, но намерен уничтожить долги. Они предупредили обнародование закона, заняли у богатых много денег и купили обширные поля. Когда закон был обнародован, они пользовались землями, но не возвращали денег заимодавцам, так что многие возлагали на Солона эту вину и клеветали на него, как будто бы он сам не был ими обманут, но обманывал вместе с ними народ. Но это обвинение скоро было уничтожено, ибо первый он отпустил по закону пять талантов, которые ему были должны. Некоторые, среди них и Полизел Родосский, полагают долг этот в пятнадцати талантах. Друзей его с того времени называли хреокопидами*.

Однако постановления его ни одной из сторон не были приятны. Богатых огорчил он уничтожением долгов; бедных еще более тем, что не разделил полей по их ожиданию и, подобно Ликургу, совершенно не уравнил состояний. Но сей законодатель, будучи одиннадцатым после Геракла и царствовав несколько лет в Лакедемоне, имел великую важность и силу и многих друзей; все это содействовало ему при введении того, что он почитал полезным; при всем том, употребив более насильственные меры, нежели убеждение, с потерю одного глаза совершил величайшее, к спасению республики и к единодушию способнейшее дело – то, что среди граждан не было ни богатых ни бедных. Но Солон не мог этого сделать; будучи не важного рода и посредственного состояния, не произвел ничего ниже власти своей, которая основанием своим имела лишь мудрость его и доверенность к нему сограждан. Он сам говорит, что огорчил их, ибо они другого от него ожидали, как видно из следующих его стихов:

Сколь радостно тогда взирали на меня!
Теперь, как на врага, вращают взоры гневны!

Но кто бы из других, такую власть, как я,
Имеv в руках своих, не возмутил народа
И тучного млека не выжал из него?

Однако афиняне вскоре познали всю пользу его постановлений, оставили взаимные неудовольствия, принесли жертву общественную, которую называли облегчением, или сисахфией, и Солонa признали исправителем правления и законодателем своим, дали ему силу неограниченную, препоручили не часть правления, но все власти, Народное собрание, суды, Совет. Он мог определять имение каждого из составлявших оные, число всех, продолжение их должности, уничтожать и утверждать по своему благоусмотрению все прежде принятые постановления.

Во-первых, он уничтожил все законы Драконта*, кроме тех, которые касались убийства, по причине великости и жестокости наказаний, ибо за все проступки назначено было почти одно наказание – смерть; так что и уличаемые в праждности были умерщвляемы и укравшие травы или каких-либо плодов были наказываемы одинаковым образом с человекоубийцами и святотатцами. По этой причине справедливо сказал впоследствии оратор Демад*, что законы Драконта «писаны были кровью, не чернилами». Когда спросили Драконта, для чего определил он смертную казнь за большую часть преступлений, он отвечал: «Для того, что малые преступления я почитал достойными сего наказания; для важных же не нашел большего».

Во-вторых, Солон, желая богатым по-прежнему предоставить все власти и сделать смешанным правление, в котором народ прежде не участвовал, учинил оценку имению всех граждан. Получавшие пятьсот мер сухих и жидких произведений, были поставлены им на первую степень и названы пентакосиомедимнами*. Вторую степень составляли те, кто получал триста мер и мог содержать коня для войны – эти называемы были «принадлежащими к всадникам». Третьей степени граждане назывались «зевгитами» и получали двести мер дохода. Все прочие названы были «фетами», то есть наемники или ремесленники; они не имели никакой власти и участвовали в правлении только подачей голосов в Собрании и в судопроизводстве – что вначале почитали ничего не значащим, но впоследствии оказалось чрезвычайно важным, ибо большей частью тяжбы переходили на суд народа. Всякое дело, которое решено было в судах, позволялось переносить к нему. Говорят, что Солон написал законы несколько неясно и двусмысленно и тем возвысил важность судилищ. Так как распри не могли быть решены законами, то спорящие стороны имели нужду в судьях и при всяком недоразумении должны были относиться к ним, ибо они некоторым образом обладали законами. Солон хвалится введенным равенством, говоря в стихах своих:

Народу дал я столько власти,
Довольно сколько для него.
Ему не придал лишней части;
Не отнял силы ничего.
И тех, кто знатностью блистали
И всех богатством превышали,
Я от беды предохранил.
Покрыв тех и других щитами;
Друг друга попираxь ногами
И угнетать я возбранил.

Дабы еще более подкрепить слабость народа, позволил он каждому гражданину вступаться за того, кому наносили обиду. Когда кто был ранен, бит или поруган, то другой, если мог или хотел, преследовал судом и доносил на обидчика. Законодатель таким образом благо-

разумно приучал граждан к взаимному соучастию и состраданию, так как бы они были части одного тела. С этим законом согласны и слова Солона. Его спрашивали: «Какой народ бывает лучше управляем?» – «Тот, – отвечал Солон, – в котором необиженные, равно как и обиженные, преследуют и наказывают обидчика».

Солон составил совет Ареопага* из числа тех, кто прежде был архонтом; он сам в нем участвовал, будучи прежде возведен на это достоинство. Приметя в народе надменность и гордость по причине уничтожения долгов, составил он другой совет, избрав из каждого колена, которых было четыре*, по сто человек, и определил, чтобы никакое дело не было предложено в Народном собрании без предварительного рассмотрения в этом совете. Верховному же совету предоставил надзор надо всем и охранение законов – в той надежде, что республика двумя советами, как двумя надежными якорями, утвержденная, менее будет колеблема и народ более успокоится. Большинство согласны в том, что Ареопаг составлен Солоном; их мнение подтверждается еще тем, что Драконт не говорит об этом и нигде о них не упоминает, а всегда обращается к эфетам* в делах уголовных. Но в тринадцатой таблице Солона, в восьмом законе сказано: «Объявленным бесчестными до управления Солонова будет возвращена честь, кроме тех, кто Ареопагом, эфетами или царями в притане осужден за смертоубийство или за искание неограниченной власти и был в изгнании при постановлении этого закона». Это доказывает, что Ареопаг существовал еще до власти и законодательства Солонова, ибо кто мог быть осужден Ареопагом прежде Солона, если Солон первый дал сему совету право судить? Может быть, подлинник неясен или недостаточен, и мысль закона такова: избобленные в тех преступлениях, которые судят ареопагиты, эфеты и пританы, при постановлении этого закона должны оставаться бесчестными, а другим возвратится честь. Такова была и мысль Солонова.

Из других его законов весьма странен и собственно ему принадлежит тот, который объявляет бесчестным гражданина, не пристающего ни к которой стороне во время междоусобного мятежа. По-видимому, хочет он, чтобы гражданин не был равнодушен и нечувствителен к общим несчастьям и, приведши в безопасность свое состояние, не гордился тем, что не участвует в бедствиях и страданиях отечества. Он заставляет его предать себя той стороне, которая поступает справедливее и мыслит полезнее, подвергаться опасностям вместе с ней и помогать ей, не ожидая спокойно, которая из двух одержит победу*. Но весьма безрассуден и посмеяния достоин, по моему мнению, закон, позволяющий единственной богатой наследнице, если муж ее не способен к браку, иметь связь с ближайшим родственником своего мужа. Некоторые говорят, защищая закон этот, что он уставлен против тех, кто, не будучи способен к браку, из корыстолюбия женится на богатых наследницах и по праву закона* делает насилие природе. Такие, зная, что жены их могут иметь связь с кем хотят, или отвергнут брак, или будут терпеть, к стыду своему, поведение жен своих, принимая достойное наказание за свое любопытство. По мнению защитников этого закона, хорошо в нем и то, что жена может выбирать только из числа мужниных родственников, дабы прижитые дети были, по крайней мере, одного рода и одной с мужем крови.

Сообразно этому молодых супругов запирают одних; они едят вместе квитовое яблоко*. Муж такой наследницы должен иметь с женой свидание по крайней мере три раза в месяц. Хотя бы от того не было детей, но внимание и благосклонность, мужем целомудренной жене оказываемые, всегда служат к погашению вседневно случающихся неудовольствий и препятствуют несогласию произвести совершенное одного к другому отвращение.

Солон в других браках уничтожил приданое и постановил, чтобы невеста приносила мужу три платья и небольшое недвижимое имение. Он не хотел, чтобы брак заключаем был из корысти или покупаем, но чтобы целью этого союза были произведение детей, приятность и взаимная любовь.

Дионисий, тиранн сиракузский, отвечал матери своей, которая просила выдать ее замуж за одного из граждан, что он мог испровергнуть законы республики для получения верховной

власти, но не в состоянии нарушить законов природы, сочетая браком неравных летами. В самом деле, такое злоупотребление не должно быть терпимо в обществе; не должно оставлять без внимания этих неприличных и никакой приятности не имеющих соединений, в которых нет любви и цели брачной. Благоразумный правитель или законодатель скажет старику, который хочет жениться на молодой, то же самое, что в трагедии сказано Филоклету: «Тебе ль, несчастный, в брак вступить!»* Равным образом, видя и молодого человека в покоях богатой старухи, подобно самцам куропадок, жиреющего от любви, заставить его перейти к молодой девице и жениться на ней. Но об этом довольно.

Хвалят также закон Солона, запрещающий говорить дурно об умерших. По благочестию, мертвые должны быть для нас нечто священное; справедливость требует щадить тех, которые более не существуют, а политика должна стараться, чтобы вражда не была вечна. Запретил он бранить и живых – в храмах, в судах, в советах, на позорищах – под страхом наказания платить три драхмы обиженному и две в народную казну. В самом деле, не уметь ни в каком случае умерять гнев свой есть свойство человека необразованного и необузданного; владеть собой везде – трудно и многим невозможно. Законодателю надлежит предписывать законом лишь то, что возможно, если хочет наказывать малое число с пользой, а не многих без пользы.

Солоновы законы о завещаниях также заслужили одобрение. До него не позволялось завещать ничего чужому; имение и дом умирающего оставались всегда в его роде. Солон, позволив бездетным отказывать свое имение кому хотели, предпочел таким образом дружбу – родству, благосклонность – необходимости и соделал имение в самом деле собственностью. Однако эти завещания не были совершенно неограниченны и произвольны. Недействительными почитались те, которые были сделаны в болезни, от принятия отравы, в оковах, по принуждению, по убеждению женщины. Солон благоразумно полагал, что обольщение от принуждения ничем не различествует, ибо обман и необходимость, боль и наслаждение равно способны лишить человека рассудка.

Он постановил еще законы касательно выездов женщин, сетования по умершим и празднеств их и тем укротил беспорядки и своевольство. Запретил им при выезде из города брать с собою более трех платьев, иметь кушанье или питье, которое бы стоило более обола, кошницу больше локтя; выезжать ночью иначе как в колеснице, при свете факела. Окровавливать ногтями лицо, рыдать притворно, издавать вопли при чужих похоронах совсем запретил. Не позволил он приносить быка в жертву усопшим, класть с умершим более трех платьев, ходить к чужим гробам* по совершении погребения – что все и нашими законами запрещается. Сверх того, по нашим постановлениям, гинеконы, или имеющие надзор над поведением женщин, налаживают пеню на самих мужчин, которые при таких случаях предали себя скорби, женоподобной и мужу неприличной.

Солон, видя, что город наполнен людьми, стекающимися отовсюду в Аттику по причине безопасной и спокойной жизни, что большая часть страны этой бесплодна, а производящие морскую торговлю ничего не привозили к тем, кто взаимно не мог дать им ничего, заставил граждан приняться за ремесла. Он издал закон, по которому сын, никакому ремеслу от отца не наученный, не был обязан кормить его в старости.

Ликург, живший в городе, очищенном от толпы иностранцев, обладавший для многочисленного народа пространною землею, могущей содержать, по словам Еврипида, вдвое более того жителей, Ликург, видевший великое множество илотов, рассеянных по Лаконии, которых надлежало не оставлять в бездействии, но беспрестанной работой унижать и угнетать, поступил хорошо, освободив граждан от многотрудных и подлых работ и заставив их заниматься только оружием, этому искусству одному научиться и упражняться только в нем. Но Солон, который более приновлял законы к обстоятельствам, нежели обстоятельства к законам, ведая, что земля с трудом производила столько, сколько нужно было для прокормления обрабатывающих ее, и нимало не была удобна содержать многочисленный народ, праздный и

ленивый, придавал важность ремеслам и препоручил Ареопагу надзирать, какими средствами каждый гражданин доставлял себе пропитание, и наказывать праздных*.

Но несколько уже строг закон, который позволяет детям, рожденным от любовниц, не кормить отцов своих, как свидетельствует Гераклид Понтийский. Солон думал, что тот, кто в браке презирает благопристойность и имеет сообщение с женщиной для одного наслаждения, а не для того, чтобы прижить детей, уже награжден и не может ничего требовать от детей своих, для которых самое рождение соделал он поношением.

Вообще Солоновы законы, касающиеся до женщин, весьма странны. Он позволил умерщвлять прелюбодее* тому, кто его поймают; но похитивший и изнасиловавший женщину свободного состояния повинен был заплатить пени только сто драхм; если служил посредником другому – двадцать драхм. Это не касалось женщин, которые явно продают себя, ибо они сами приходят к платящим им. Он запретил продавать дочерей и сестер своих*, исключая пойманных в преступлении до замужества. Но один и тот же проступок наказывать то слишком строго и сурово, то легко и кротко и как бы шутя определять какую-нибудь денежную пеню – безрассудно. Может быть, деньги были тогда редки в Афинах и трудность находить их делала наказания эти тяжкими. Это видно из того, что в постановлении о ценах жертв баран и медимн пшеницы оценены им в одну драхму; победителю на Истмийских играх определил он сто драхм награды; на Олимпийских – пятьсот*. Приносящему волка давали пять драхм; волчонка – одну. По свидетельству Деметрия Фалерского, первая была цена быку, вторая – барану. Цены чрезвычайных и великих жертвоприношений, означенные в одиннадцатой таблице, были гораздо более, но и те в сравнении с нынешними жертвоприношениями весьма дешевы. Впрочем, афиняне издревле вели войну с волками, населяя землю, более способную к скотоводству, нежели к земледелию.

Некоторые уверяют, что четыре колена афинских сперва получили имена свои не от сыновей Иона*, но от рода жизни, который они избрали. Вступившие в военное состояние названы гоплитами, то есть ратниками; посвятившие себя искусствам – эргатами, то есть рабочими; телеонтами названы земледельцы, а эгикореями – занимавшиеся скотоводством.

Поскольку в Аттике нет ни рек, постоянно текущих*, ни довольно озер или источников, но большей частью довольствуются водой из вырытых кладезей, то Солон позволил брать воду из колодцев общественных всем тем, кто жил в четырех стадиях от оных; отдаленнейшим же предписал искать воды самим у себя; если же, вырыв яму в десять сажень глубины, воды не находили, то позволялось им брать у соседа воды дважды в день по одному сосуду, мерою в шесть кружек. Намерение его было то, чтобы пособлять нужде, а не питать леность.

Весьма благоразумно определил он расстояние, которое должно наблюдать при посадке деревьев. Надлежало садить их не ближе пяти футов от соседнего поля; но оливы и фиги – не ближе девяти: корни этих деревьев простираются далее и близость их не всегда безвредна для других деревьев, ибо они отнимают у них соки и испарения их для некоторых опасны. Он велел, чтобы вырываемые ямы и рвы отстояли от чужого поля на столько, сколько были глубоки; чтобы пчел заводили не менее трехсот футов расстоянием от того, который завел их прежде.

Из всех произведений Аттики позволил он продавать иностранным только масло; все другие произведения вывозить запретил. Архонт был обязан предавать проклятию тех, кто вывозил их, или самому платить в народную казну сто драхм. Закон этот содержится в первой таблице. Не невероятно и то, что в прежние времена, как говорят, запрещено было вывозить из Аттики смоквы. По этой причине показатель или доносчик на тех, кто вывозил оную, назван сикофантейном*. Между прочим Солон написал закон о вреде, производимом четвероногими. Укусившую кого-нибудь собаку повелевает выдавать ему привязанную к шесту в четыре локтя длиной*. Полезная выдумка для предохранения от угрызений собак!

Закон его касательно принятия иностранных в число граждан приводит в недоумение. Он дает право гражданства только тем, кто навсегда изгнан из своего отечества и тем, кто переселяется всем домом в Афины, дабы там жить ремеслом своим. Говорят, что такой закон издал он не столько для отвращения чужеземцев, сколько для привлечения их в Афины, подавая им несомненную надежду в принятии их в гражданство и почитая верными гражданами тех, кто потерял отечество свое по необходимости или оставил его по своей воле.

Собственно к Солону относится учреждение общественного стола, что называет он «параситейн»*. Не позволяет он часто ходить к оному, однако наказывает того, кто отказывается быть за ним в свою очередь. Первое почитал он признаком невоздержания, второе – пренебрежением общества.

Солон установил, чтобы законы его имели силу в течение ста лет. Они написаны были на деревянных таблицах, называемых аксонами, вставленных в продолговатые рамы, в которых те вертелись. И доньше хранятся еще малые остатки в пританее. По свидетельству Аристотеля назывались они кирбами. Кратин*, комический стихотворец, говорит об этом:

Клянуся в том Солоном и Драконтом,
Чьих кирбами теперь варят у нас горох.

Некоторые, однако ж, говорят, что кирбами называются лишь те, которые содержат уставы о священных делах и жертвоприношениях, и что другие известны под именем аксонов. Совет присягал всем обществом утвердить Солоновы законы. Но из фесмофетов*, или хранителей уставов, каждый особо присягал на площади у камня, обещаясь посвятить в Дельфах кумир свой, вылитый из золота и равной с собою тяжести, если преступит какой-нибудь из этих законов.

Солон, приметя неравенство месяцев, видя, что движение луны не сходно ни с восхождением, ни с заходом солнца, но что часто в один и тот же день достигает и опереживает его, определил называть такой день «старая и новая луна». Часть дня, до соединения луны с солнцем, принадлежала истекающему месяцу; остальная же – начинающемуся. Первый он, по видимому, понял истинный смысл стиха Гомера:

В тот день, когда один месяц кончится и начинается другой*.

Следующий день назвал он новолунием. После двадцатого числа месяца числа назывались убывающими, так что не прибавляя к двадцати, но вычитая, подобно уменьшающемуся свету луны, считали до тридцатого числа*.

По обнаружении этих законов многие приходили беспрестанно к Солону, то хвалили, то порицали их, то советовали прибавить к ним или убавить то, что приходило им в голову. Большая часть спрашивали обо всем, требовали, чтобы он научил их и объяснил, в каком смысле должно принять такой-то закон, с каким намерением издал его. Солон, ведая, что не исполнить их требования было бы непристойно, а исполнить опасно, для избежания всех недоумений и избавления себя от неудовольствия и жалоб своих сограждан, ибо, как сам говорит:

В делах великих всем не можно угодить, —

прикрыв свое путешествие видом морской торговли, испросил у афинян позволения отлучиться на десять лет и отплыл из Афин. Он надеялся, что за это время афиняне могут привыкнуть к его законам*.

Сначала отправился он в Египет и прибыл, как сам говорит:

При устье Ниловом, близ брега Канобидова*,

где несколько времени провел он в ученом обществе Псенофиса из Гелиополя и Сонхиса из Саиса*, мудрейших из жрецов. От них, по уверению Платона, услышал он повесть об Атлантиде*, которую предпринял передать грекам в стихах своих.

Потом отправился он на Кипр, где приобрел любовь Филокипра, одного из тамошних царей, который обладал небольшим городом, основанным Демофонтом, сыном Тесея, на берегу реки Клария, в местоположении крепком, но неудобном и бесплодном. Солон советовал царю перевести столицу свою на приятную долину, лежащую под городом, и построить город обширнее и лучше. Он сам присутствовал и помогал при построении нового города, устроил его прекрасно и сделал способным к безопасной и спокойной жизни. Вскоре стеклось к Филокипру великое множество народа, так что другие цари завидовали ему. Филокипр переименовал сей город, называвшийся прежде Эпеей («Высоким»), Солами, воздавая всю честь Солону, который упоминает о населении города в стихах своих и, приветствовав Филокипра, говорит:

Да в Солах царствуешь на многие ты годы;
Да будут счастливы твои тобой народы.
Богиня ж радостей, Киприда, мать любви,
На быстром корабле, к брегам моей земли
Да в безопасности меня сопровождает;
Да счастьем дарит, успехами венчает
За град, кой основал и посвятил я ей.

Касательно свидания его с Крезом: некоторые опровергают оное как вымышленное, основываясь на летосчислении. Но я не должен пропустить повести знаменитой, многими утвержденной и, что всего важнее, достойной нравов, высоты духа и мудрости Солона по причине несходства с хронологическими таблицами, которые и ныне многие стараются исправить, но не могут согласить встречающихся в них противоречий.

Повествуют, что Солон прибыл в Сарды, куда призван был Крезом. С ним случилось то же самое, что и с человеком, рожденным посреди твердой земли, который хотел видеть море; всякую реку, ему попадавшуюся, почитал он морем. Так Солон, придя ко двору и видя многих вельмож в богатом убранстве, идущих с важностью среди толпы тех, кто их провожал и охранял, каждого из них принимал за Креза до тех пор, пока приведен был к самому Крезу. Этот государь, желая показать Солону зрелище самое великолепное и привлекательное, надел все то, что у него было прекраснее, превосходнее и удивительнее, и явился в драгоценных камнях, блистательных одеждах, золотых уборах. Солон предстал, но не был поражен этим зрелищем; ничего не сказал такого, чего ожидал Крез. Здравомыслящие могли заметить, что он явно презирал его безрассудность и суетность. Крез велел открыть ему свои сокровища и показать великолепные уборы и пышность двора своего, хотя в том не было нужды; довольно было Солону его одного, чтобы иметь понятие о его образе мыслей. Солон, обзрев все, был приведен опять к Крезу, который спросил у него, видал ли он человека благополучнее его. Солон отвечал, что видел Телла, согражданина своего, и рассказал Крезу, что сей Телл был человек добродетельный и оставил по себе хороших детей; что во всю жизнь свою не имел ни в чем недостатка и умер со славой, сражаясь за отечество. Солон казался уже Крезу человеком странным и грубым за то, что блаженство жизни не измерял золотом и серебром и жизнь и смерть простого и неизвестного человека предпочитал громадной власти и могуществу. Однако еще спросил его, знает ли другого, после Телла, благополучнее его. Солон опять отвечал, что знает Клеобиса и Битона, известных по беспримерной своей дружбе друг к другу и к матери любви, ибо некогда в праздничный день, как замедлили привести ожидаемых волов, сами впряглись в колесницу и

везли к храму Геры мать свою, веселящуюся и благословляемую гражданами; они принесли жертву, повеселились на пиршестве, легли спать и более не пробуждались – умерли спокойною и беспечальной смертью среди великой славы. «А меня, – сказал тогда Крез с гневом, – меня не полагаешь в число благополучных?» Солон, не желая льстить царю, ни возбуждать его более к гневу, сказал: «Царь Лидийский! Бог наделил нас, греков, умеренно всеми благами своими; он дал нам и некоторую мудрость, смелую и простую, не царскую и блистательную, которая, покаявая нам, сколь многоразличным переменам подвержена жизнь наша, не допускает нас гордиться настоящими благами, ни удивляться благоденствию, которое может со временем разрушиться. Неведомое будущее бывает сопровождаемо многими и великими переменами. Мы почитаем благополучным только того, кому бог с жизнью продлил благоденствие. Прославлять блаженным человека еще живого и всем ударам судьбы подверженного столько же ненадежно и сомнительно, как прославлять и увенчивать того, который еще борется». Сказав сие, Солон удалился; он оскорбил, но не исправил Креза.

Тогда находился в Сардах баснотворец Эзоп, призванный ко двору Крезом и много им почитаемый. Ему неприятно было, что Солону там не оказали никакой ласки и почести. Он сказал Солону в наставление: «Друг мой! Или совсем не говорить с царями, или говорить им то, что для них приятно». «Скажи лучше – отвечал Солон, – или совсем не говорить с ними, или говорить то, что для них полезно».

Таким образом, Крез тогда пренебрег Солоном; но впоследствии, дав сражение и будучи побежден Киром, потерял столицу свою, был пойман живой и определен на сожжение; костер был уже готов; Крез, связанный, взведен был на него в присутствии всех персов и самого Кира. Тогда, собрав все силы свои, трижды воскликнул он громким голосом: «О Солон!» Кир, удивясь сему, велел у него спросить, какой человек или бог Солон сей, которого одного в крайнем бедствии своем призывает. Крез, ничего не скрывая, сказал: «Солон есть один из греческих мудрецов; я призвал его к себе не для того, чтобы я желал его послушать и научиться от него чему-либо полезному; но дабы он был зрителем моего богатства и возвратился в свое отечество, будучи свидетелем блаженства, которого потеря более приносит горести, нежели обладание приносило утешения. Все блага его были мечтательны, существовали только на словах; превратность же ввергает меня в ужасные бедствия, в страдания нестерпимы. Именно это предугадывая тогда, оный муж по прежним моим поступкам напоминал мне, дабы взирал я на конец дней моих и не гордился бы, полагаясь дерзостно на то, что не имело никакого основания». Когда слова эти были пересказаны Киру, то сей государь, будучи разумнее Креза и видя из того, что пред глазами его происходило, всю силу слов Солоновых, не только освободил Креза, но во всю жизнь свою оказывал ему почтение. Солон приобрел себе тем сугубую славу, что одною речью одного царя спас, а другого вразумил.

Между тем в отсутствие Солона афиняне были в раздоре. Ликург был начальником полевых жителей; Мегакл, сын Алкмеона, – приморских, а Писистрат – нагорных, к которым присоединились бедные, жившие работой и ненавидевшие богатых. Республика, правда, управлялась еще Солоновыми законами, но всякая сторона желала новых перемен и была склонна к другому образу правления – не потому, чтобы хотели равенства в правах, но надеясь этой переменой совершенно одержать верх над своими противниками. Дела находились в таковом положении, когда Солон возвратился в Афины. Все граждане уважали и почитали его; но, будучи уже стар, не имел он более ни живости, ни силы действовать и говорить в Собрании. Он имел частые свидания с начальниками этих трех сторон, старался прекратить их раздоры и примирить их, тем более что Писистрат, по-видимому, охотно слушал его. Этот гражданин имел нечто привлекательное и сладостное в своих разговорах; бедным оказывал помощь, во вражде был умерен и кроток. Он умел так хорошо показывать и те добрые свойства, в которых природа ему отказала, что все полагали их в нем более, нежели в тех, кто их действительно имел. Народ почитал его человеком благоразумным и скромным, всего более любящим справедли-

вость, ненавидящим новые перемены и все то, что стремилось к испровержению настоящего состояния республики. Этим обманывал он только народ; но Солон вскоре открыл истинные его свойства и первый узнал его замыслы. Однако не возненавидел его, старался его укротить и исправить, говаривал ему самому и другим, что когда бы можно было истребить из сердца его любоначалие и исцелить страсть к неограниченной власти, то не было человека способнее его к добродетели, ни лучшего в Афинах гражданина.

В это время Феспид* начал преобразовывать трагедию и новостию изобретения привлекал народ. Тогда еще не назначали награды стихотворцам, отличившимся в этом роде сочинения. Солон, будучи от природы любопытен и охотник учиться, и в старости своей предавшись беспечности и забавам и утешая себя пиршествами и музыкою, захотел быть зрителем Феспида, который представлял сам, по обыкновению древних. По окончании представления Солон спросил у него: «Не стыдно ли тебе так лгать в присутствии такого множества людей?» Феспид отвечал, что нет ничего дурного в том, чтобы говорить и действовать таким образом для забавы. «Да! – сказал Солон, ударив сильно в землю палкою. – Но мы, похваляя и уважая сию, вскоре найдем ее в условиях и в делах наших».

Вскоре Писистрат, покрыв сам себя ранами, приехал на форум в колеснице и возбудил гнев народа, представляя ему, что это претерпевает от своих неприятелей за любовь свою к республике. Многие при этом зрелище досадовали и кричали. Солон, приблизившись к Писистрату, сказал: «Сын Гиппократа, ты худо представляешь гомеровского Одиссея*; ты окровавляешь себя, дабы обмануть сограждан своих той хитростью, какою обманул он неприятелей». Многие хотели уже защитить Писистрата. Народ собрался на площади. Аристон предлагал дать Писистрату пятьдесят палиценосцев для его безопасности. Солон, восстав, противился сему предложению; он много говорил подобного тому, что в стихах своих пишет, как-то:

Прельщают вас слова приятны и прелестны;
Вам истинны дела нимало не известны.
Лисице хитростью подобен всяк из вас;
Для пользы общей все вы без ума, без глаз.

Приметя, что бедные шумели и были благосклонны к Писистрату, богатые робели и предавались бегству, Солон оставил Собрание, сказав, что он разумнее одних и мужественнее других: разумнее не знающих того, что происходит; мужественнее знающих и страшящихся противиться самовластию.

Народ утвердил предложение Аристона и не заботился уже о числе писистратовых палиценосцев, но позволил ему набирать и содержать их столько, сколько хотел*, до тех пор пока он занял крепость. Как скоро это случилось, город был возмущен; Мегакл и другие алкемеониды убежали. Солон был уже весьма стар и не имел помощников; однако, придя на площадь, говорил гражданам; то упрекал их в робости и безрассудстве, то побуждал и ободрял их не предавать вольности. При этом сказал он эти столь известные слова, что укротить тираннию при самом начале ее было им легче, но теперь несравненно блистательнее и славнее низложить и искоренить ее, когда она уже возрасла и укрепилась. Однако страх овладел ими, они не внимали словам его. Солон, придя домой, взял свои оружия, вынес их на улицу перед своим домом, сказав при том: «Я защищал отечество и законы столько, сколько было возможно!» После того пребыл он спокойным. Друзья его советовали удалиться из отечества; он не слушался их, но писал стихи, в которых поносил афинян:

Вы страждете теперь за вашу подлость, робость;
Но не вините в том вы праведных богов.
Властителям своим вы сами дали замок,

За то вы преданы и рабству, и стыду

Многие говорили ему, что Писистрат его умертвит за столь дерзкие речи, и спрашивали его, на что надеясь, он говорит так смело. «На старость», – отвечал Солон.

Однако Писистрат, покорив себе все, оказывал Солону столько уважения, почестей и благосклонности, что привлек его к себе. Солон сделался его советником и одобрял многие из его деяний. Писистрат сохранил все законы Солоновы, исполнял их сам и заставлял своих друзей исполнять их. Имея уже в руках своих неограниченную власть, был он обвиняем пред Ареопагом в смертоубийстве, предстал скромно для своего оправдания; но истец отказался от своего доноса.

Писистрат издал сам некоторые законы, среди прочих и тот, чтобы изувеченные на войне содержимы были обществом. Гераклид пишет, что он подражал в том Солону, который сделал это самое постановление в пользу изувеченного Ферсиппа. Феофраст уверяет, что закон против праздности издан также Писистратом, который этим произвел то, что город стал спокойнее, а поля лучше были возделываемы.

Солон предпринял важный труд – написать слышанную им от саисских мудрецов об Атлантиде повесть или басню, которая была занимательна для афинян*, но отстав от своего намерения не столько по другим занятиям, как говорит Платон, сколько от старости, утрашившись великости сего дела. Что имел он много свободного времени, о том свидетельствуют разные стихи его, как-то:

Состареваясь, я многому учусь —

и следующие:

Киприда, Музы, Вакх владеют ныне мною;
Они для смертных всех суть радостей виною.

Впоследствии Платон, завладев этим предметом, как плодоносным, но необработанным полем, принадлежащим ему по родству*, желая соорудить и украсить Атлантиду*, воздвигнул величественный вход, соделал ограду и дворы великолепные, каких ни одно другое сочинение, басня или стихотворение никогда не имели; но он начал поздно и до совершения сего дела окончил дни свои. Чем более услаждает читателя писанное, тем более огорчает его то, чего недостает в нем. Как афиняне храм Зевса Олимпийского, так Платонова мудрость сочинение об Атлантиде, одно из прекрасных его творений, оставила недоконченным.

Солон умер, как повествует Гераклид Понтийский, довольно долго после похищения Писистратом верховной власти; по свидетельству же Фания, через два года после того Писистрат начал править во время архонства Комия, а Солон умер при Гегестрате*, который начальствовал после Комия. Касательно того, будто прах его был рассеян по Саламину, то это происшествие по странности своей недостоверно и баснословно; однако повествуют о том многие из знаменитейших писателей, среди прочих и философ Аристотель.

Попликола

Таков был Солон! Мы противопоставим ему Попликолу, которому название это дано было после римским народом из почтения; прежде назывался Публием Валерием. Он происходил от того древнего Валерия*, который более всех был виной тому, что римляне и сабиняне, примирившись, из неприятелей составили один народ, ибо он убедил царей сойтись и приступить к мирному договору. Публий Валерий, происходя от такого предка, как говорят, еще в то

время, когда Рим управлялся царями, был знаменит богатством своим и красноречием. Смело и справедливо употреблял одно в защиту правого дела; щедро и человеколюбиво другим оказывал помощь нуждающимся. Легко можно было предвидеть, что при перемене правления он будет первым человеком в республике.

Тарквиний Гордый, достигший престола средствами незаконными и нечестивыми и употреблявший власть свою не так, как царь*, но как надменный и насильственный властелин, был уже несносен и ненавистен народу. Бедственная кончина Лукреции, которая умертвила сама себя*, будучи изнасилована сыном Тарквиния, подала народу повод к возмущению. Луций Брут, приступая к произведению перемены в правлении, прежде всех обратился к Валерию и при ревностнейшей его помощи изгнал Тарквиниев. Казалось сначала, что народ вместо царя изберет одного полководца. По этой причине Валерий пребывал спокоен и уступал Бруту, думая, что было приличнее начальствовать ему как главному виновнику народоправления.

Но имя единоначалия было неприятно народу, которому разделяемая власть казалась сноснее. Он предлагал и требовал избрать двух начальников. Валерий надеялся быть избранным вместе с Брутом, но обманулся. Против воли Брута избран был вместо Валерия Тарквиний Коллатин*, муж Лукреции, не превышавший Валерия добродетелями; но вельможи, боясь царей, извне употреблявших все средства и старавшихся успокоить народ, желали иметь начальником своим самого непримиримого и жестокого врага их.

Валерий, оскорбленный подозрением, будто не во всем действует для пользы отечества, ибо не претерпел лично от сената никакого зла, не ходил более в Народное собрание и совершенно оставил дела общественные. Такой поступок заставил многих бояться, чтобы Валерий не принял стороны царей и не испровергнул республики, еще колеблющейся. Брут подозревал и некоторых других; он определил, чтобы сенат дал присягу при жертвоприношении, и назначил на то день. Тогда Валерий с веселым лицом вышел на площадь и первый обязался присягой: не принимать никакого от Тарквиния предложения, не уступать ему ни в чем, но всеми силами защищать свободу. Это было весьма приятно сенату и ободрило консулов*. Вскоре утвердил он делами присягу свою.

От Тарквиния прибыли посланники с письмами, льстившими народу, и с предложениями кроткими, которыми надеялись привлечь его на свою сторону, как бы царь оставил уже гордость и обнаруживал умеренные и справедливые требования. Консулы думали, что должно представить их народу, но Валерий не допустил их. Он воспротивился тому, дабы не подать повода и начала к новым переменам людям, отягощенным бедностью и страшившимся войны более самого тираннства.

После этого прибыли другие посланники с объявлением, что Тарквиний отрекается от царства и не намерен более продолжать войны; но только требует имения своего и своих друзей и родственников, дабы можно было содержать себя в изгнании. Многие смягчались; Коллатин более всех был на то склонен; но Брут, человек непреклонный и жестокий во гневе своем, выбежал на площадь*, называл товарища своего предателем; говорил, что он подает помощь к продолжению войны и к достижению верховной власти тем самым, которым в самом деле не надлежало бы давать ничего на пропитание в изгнании их. Между тем собирались граждане; Гай Минуций, лицо частное, первый начал говорить и увещевал Брута и римлян принять меры, чтобы это имение осталось у них и более содействовало им против тираннов, нежели тираннам против них. Однако римляне думали, что, пользуясь свободой, за которую воевали, не должно было отвергать мира для имения, но вместе с Тарквинием выбросить из города и принадлежащее ему имущество.

Впрочем, Тарквиний менее всего помышлял о нем. Требованием этим он хотел испытать народ и в то самое время приготовить измену. Это-то и производили посланники, которые как бы для сего только имения оставались в городе под предлогом, что продавали, берегли или отсылали его до тех пор, пока успели развратить первейшие в Риме дома Аквилиев и Вител-

лиев. Из первого трое, из второго двое были членами сената. Все они по матери были племянниками консула Коллатина. Вителлии были связаны ближайшим родством с Брутом, который был женат на их сестре и имел от нее многих детей*. Двух взрослых из них, с которыми Вителлии сверх родства соединены были дружбой, привлекли они на свою сторону и убедили быть участниками в измене; они подавали им надежду соединиться тесными узами с могущественным родом Тарквиниев, заставляли простираť виды свои на самое царство и внушали им отвращение к жестокости и глупости отца их. Они называли жестокостью неумолимую строгость его к злым; что касается до глупости, долгое время он употреблял ее притворно, как щит для безопасности своей от тираннов; однако впоследствии не избавился от этого прозвания*.

Когда юноши на все согласились и вступили в переговоры с Аквиллиями, рассудили за благо утвердить союз свой самой страшной клятвой, совершив возлияние кровью убитого ими человека и коснувшись его внутренностей. Они собрались для произведения сего в дом Аквиллиев, который был пуст и темен, как прилично этому делу. Неприметно от них скрывался в доме том один невольник, по имени Виндиций, не из злоумышления или подозрения о происходившем, но находясь тут прежде и убоявшись показаться им. В то время как они шли с поспешностью, спрятавшись за большой ящик и таким образом видел все, что они делали, и узнал о всех их намерениях. Они согласились между собою умертвить консулов, написали о том Тарквинию письма и отдали посланникам, ибо эти жили в доме Аквиллиев и находились при этом заговоре. По совершении сего удалились. Виндиций, выйдя тайно из дому, не знал, как поступить в том деле, и колебался в недоумении; опасно ему казалось донести на детей отцу их, Бруту, на племянников – дяде их Коллатину о столь ужасном преступлении; а частному лицу в Риме не мог решиться открыть столь важной тайны. Не находя нигде покоя, смущаемый своею совестью, прибегнул он к Валерию, будучи более всего прельщен кроткими и человеколюбивыми поступками сего мужа, столь удобоприступного всем нуждающимся в нем, дом которого был всем открыт днем и ночью и который не отказывал ни в советах, ни в помощи никакому простолюдину.

Виндиций пришел к нему и объявил все в присутствии только жены и брата его Марка. Валерий ужаснулся и приведен был в изумление от слов его, запер невольника в своем доме под присмотром жены своей; брату же своему велел обступить царский дом и, если можно, отнять у посланников письма и стеречь их служителей. Сам с многочисленной толпой своих клиентов и друзей, которые всегда его окружали, и со многими служителями пошел в дом Аквиллиев, в котором никого не было. Он входит туда беспрепятственно и находит письма в комнате у посланников. Между тем Аквиллии прибегают; встречаются с ним при дверях, бросаются на него и стараются вырвать письма. Валерий защищался с сопровождавшими его; они накидывают платье им на шею и с великим усилием, отражая и будучи отражаемы, влекут их разными улищами до самой площади.

В то же время около царского двора происходило нечто подобное. Марк нашел другие письма между вещами, которые укладывали, и многих Тарквиниевых служителей, сколько мог, тащил на площадь. Когда консулы успокоили шум и по приказанию Валерия приведен был из дому его Виндиций, начался суд, прочтены были письма. Никто из обвиняемых не дерзнул противоречить им. Все присутствующие погружены были в безмолвие и уныние. Некоторые, желая угодить Бруту, упомянули об изгнании. Коллатиновы слезы и безмолвие Валерия подавали им некоторую надежду. Брут, называя детей своих по имени, сказал: «Тит, и ты, Валерий, для чего вы не защищаетесь против сего обвинения?» Троекратно вопрошает их таким образом; они ничего не отвечают. Тогда, обратившись к ликторам, сказал: «Прочее – ваше дело!» Ликторы тотчас берут юношей, срывают с них платье, связывают руки назад, окровавливают тела их палочными ударами. Никто не имел столько силы и твердости, чтобы взирать на это позорище. Один отец, как говорят, не отвратил от них взоров своих; жалость не смягчила суровости и гнева, на челе его изображенного. Свирепо смотрел он на казнь детей своих до тех пор, как

ликторы, повергнув их на землю, отсекали им головы секирой. Предав других виновных своему соправителю, встал и удалился, совершив дело, которого не можно ни достойно похвалить, ни довольно порицать. Или величие добродетели восторгло душу его до бесстрастия, или сила страсти довела его до бесчувствия; ни то ни другое не обыкновенное, не человеческое, но или божественное, или зверское. Впрочем, справедливость требует лучше последовать в суждении этом славе сего мужа, нежели не верить его добродетели по причине нашей слабости. Римляне сами думают, что не столько было трудно Ромулу построить город их, сколько Бруту основать и учредить республику.

По удалении Брута с форума изумление о произошедшем, ужас и безмолвие долгое время обладали всеми. Аквиллии, ободренные снисхождением и медленностью Коллатина, стали просить времени для своего оправдания; требовали, чтобы Виндиций выдан был им, как раб, которому не надлежало быть в руках обвинителей. Коллатин хотел уже исполнить их просьбы и распустить Собрание. Но Валерий не соглашался ни выдать им человека, который находился в числе окружающих его, ни допустить народа разойтись, отпустив изменников. Наконец сам наложив на них руки, призывал Брута; кричал, что Коллатин поступает недостойным образом, ибо, доведши своего товарища до необходимости быть чадоубийцей, теперь почитает нужным, из угождения женщинам, освободить изменников и врагов отечества. Консул, вознегодовав, велел отнять Виндиция. Ликторы разогнали толпу, схватили человека сего и били тех, кто его у них отнимал. Друзья Валерия пристали к нему и защищали его. Народ кричал и звал Брута; он возвратился в Собрание. Шум утих, и Брут сказал народу, что он над детьми своими произнес приговор как настоящий судья, но прочих виновных оставляет суду народа, уже свободного. «Итак, – продолжал он, – пусть говорит, кто хочет, и убеждает граждан». Но в речах не было нужды; все голоса были против них. Виновным отсечены были головы.

Еще прежде падало на Коллатина некоторое подозрение по причине родства его с царским родом; второе имя его было народу неприятно по ненависти к Тарквинию. После этого происшествия, навлекши на себя неудовольствие народа, Коллатин сам сложил с себя консульство и удалился из города. Граждане собрались вновь для избрания консула – и Валерий торжественно получил это достоинство как пристойную награду за свою ревность. Почитая Виндиция достойным участвовать в оной, Валерий определил, чтобы первый сей отпущенник был объявлен гражданином римским, с правом подавать голос свой в той трибе, к которой желал он быть причислен. Другим отпущенникам, спустя долгое время после этого, Аппий*, угрожая народу, позволил подавать голоса свои. Совершенное освобождение и поныне называется «виндикта», по имени того Виндиция*.

После того имение Тарквиния дано на расхищение народу; дома и дачи его разрушены до основания. Лучшая часть Марсова поля принадлежала ему. Римляне посвятили ее Марсу*. В то время хлеб был уже пожат и снопы еще лежали в поле. Поскольку место это посвящено было Марсу, то почли непристойным молоть и употреблять пожатый на нем хлеб. Все граждане, собравшись, носили снопы в реку; также рубили деревья и бросали их туда же; таким образом, посвятили богу сему вовсе пустую и гладкую землю. Так как все это было навалено вдруг и в великом множестве, то недалеко унесено течением реки; утвердилось там, где первые кучи стали на мели. Поскольку то, что было бросаемо после, не имело свободного прохода, то соединялось с тем, что брошено прежде, и составляло одно тело, которое более укреплялось от течения реки. Река наносила много ила, от которого гряда сия получала как бы пищу и сцепление. Удары воды, не производя сильного колебания, сжимали все части и связывали их между собою. Величина и твердость этой кучи способствовала к распространению ее, ибо удерживала большую часть того, что река сносила. Из этого составилась близ города нынешний остров, почитаемый священным*. На нем находятся храмы богов и портики. На латинском языке называют его островом *Inter duos pontes* («Между двумя мостами»*). Некоторые утверждают, что это случилось не тогда, когда поле Тарквиниево посвящено было Марсу, но

по прошествии нескольких лет, когда Тарквиния посвятила этому богу другое поле, смежное с первым. Эта Тарквиния была девица из числа весталок. За это посвящение оказаны были ей великие почести, между прочим и та, чтобы свидетельство ее одной из всех женщин было принимаемо в судах; позволено было ей выйти замуж; однако она этого не захотела. Вот как все это повествуется.

Тарквиний лишился уже всякой надежды вступить опять на престол изменою. Тирренцы приняли его охотно и с великою силою препроводили под Рим. Консулы вывели римлян и построили на местах священных*, из которых одно называется Арсийской рощей, другое Анзуйским лесом. При самом начале сражения Аррунт, сын Тарквиния, и консул Брут встретились не столько по случаю, сколько потому, что искали друг друга; пылая гневом и яростью, устремились они: один – как на тиранна и врага своего отечества, другой – желая мстить за изгнание. Предавшись более ярости своей, нежели рассудку, не щадя себя, оба упали мертвыми на месте. Конец этого сражения был столь же ужасен, как и самое начало. Оба войска, сделавши друг другу равное зло, разошлись по причине случившейся бури. Валерий находился в смущении и тревоге, не ведая о последствиях битвы, но видя воинов своих частью унывающих о своих убитых, частью же ободренных потерей неприятеля. Столько-то трудно было знать о множестве павших в сражении по причине равного их с обеих сторон числа! И те и другие, зная лучше свою потерю, более верили своему поражению, нежели победе, заключая лишь по догадкам о потере неприятельской. По наступлении ночи, какая может быть после такого сражения, и при глубокой тишине, в которой оба стана пребывали, говорят, что священная роща потряслась и из оной раздался громкий глас, изъясляющий, что у тирренцев в сражении пал один человек лишний перед римлянами. Конечно, некое божество издало этот голос*, ибо с этого мгновения римляне ободрились духом и наполнили воздух восклицаниями. Тирренцы в страхе и смятении оставили стан свой; большая часть из них разбежалась. Римляне напали на оставшихся, числом менее пяти тысяч, взяли их в полон и ограбили стан их. Пересчитав мертвых, нашли, что со стороны тирренцев пало одиннадцать тысяч триста человек; с римской – одним человеком меньше. Это сражение дано было за день до мартовских календ.

Валерию определен был триумф. Он первый из консулов въехал в Рим на колеснице, везомой четырьмя конями. Зрелище это, важное и величественное, не навлекло на Валерия зависть и неудовольствие зрителей, как некоторые уверяют, в таком случае не было бы оно предметом желания и честолюбивых помыслов в продолжение многих веков. Римлянам приятны были почести, оказанные Валерием товарищу его при выносе и погребении его тела. Он говорил над ним надгробную речь, которая так понравилась римлянам, что с того времени в честь всем великим и добродетельным людям по смерти их знаменитейшие граждане говорили похвальные речи. Уверяют, что эта надгробная речь древнее всех греческих надгробных речей; если Солон, по свидетельству оратора Анаксимена, не был оных изобретателем*.

Однако народу было досадно и неприятно, что Валерий управлял один, когда Брут, которого почитали отцом свободы, не захотел один начальствовать, но избрал дважды себе товарища. «Валерий, – говорили они, – присваивая всю власть себе, не есть приемник Брутов в консульстве, но Тарквиниев в тираннстве. Какая польза словами хвалить Брута, а делами подражать Тарквинию, и выходя на площадь один в сопровождении такого множества ликторских связок и секир* из дому, который огромнее им же скрытого прежде царского дворца!» В самом деле, Валерий жил в доме слишком возвышенном, на Велии*, и как бы висевшим над площадью, с которого по причине высоты места видно было все на ней происходившее. Выход к нему был труден по причине крутизны, и Валерий, сходящий сверху, показывал вид надменный и пышность, более царю приличную. При таком случае явил он собой, сколь полезно начальнику, управляющему великими делами, иметь слух внимательный более к смелым представлениям, к истинным речам, нежели к лести. Как скоро узнал он от друзей своих, что народ не одобряет его поступков, он не стал противоречить им, не оказал нималого неудовольствия, но, собрав

ночью много работников, с поспешностью разрушил дом свой – срыл его до основания. На рассвете дня римляне, собираясь на площадь и видя это, удивлялись ему, хвалили великость души его, жалели – как о любимом человеке – о доме столь прекрасном и огромном, разоренном несправедливо завистью; печалась о начальнике своем, который жил в чужом доме, как не имеющий своего крова. Приятели Валерия принимали его в свои дома, доколе народ не дал ему место, на котором построил дом меньше прежнего, где ныне храм Победы, называемый Вика Пота*.

Дабы не только себя, но и самое начальство сделать народу приятным и снисходительным из страшного и грозного, Валерий снял с ликторских связок секиры и самые палки, когда приходил в Народное собрание, преклонял пред народом, умножая тем величие народоправления. Это и поныне наблюдается консулами. Граждане не заметили тогда, что Валерий этим поступком не унижал себя, как они думали, но умеренностью своей украшал и уменьшал зависть; что он распространял тем более свое могущество, чем более уменьшал власть свою. Народ с удовольствием ему покорялся, охотно терпел его и назвал Попликолой – что означает народопочитателя или друга народа. Это прозвание одержало верх над прежними его временами, и мы впредь оное употреблять будем, описывая жизнь его. Он позволил всем искать и получать консульское достоинство*. Но до избрания другого консула Валерий, не ведая, что впредь произойти может, и боясь сопротивления от зависти или неведения будущего соправителя, употребил свое единоначалие для произведения полезнейших и величайших перемен в республике.

Во-первых, умножил он уменьшившееся число сенаторов; многие из них умерщвлены были Тарквинием; иные пали в последнем сражении. Число вновь избранных в сенаторы простиралось до ста шестидесяти четырех человек. Потом выдал законы, из которых более всех утвердил власть народа тот, которым позволил каждому осужденному переносить свое дело от консулов к суду народному. Вторым законом осуждается к смертной казни принявший начальство без согласия народа. Третьим, в пользу бедных утвержденным, освободил граждан от податей и заставил их всех охотнее заниматься ремеслами. Тот самый закон, который писан против ослушников консульских постановлений, был столько же благоприятен народу, как и прочие, и более угождал бедным, нежели богатым и сильным. Пеня, которую платили такие ослушники, состояла в пяти быках и двух баранах. Баран тогда стоил десять обол, а бык сто. Римляне в тогдaшнее время не употребляли много денег; все богатство их состояло в скоте. По этой причине и доныне имение называется «пекулия»*. На древнейших их деньгах изображались баран, бык или свинья, и детям своим давали имена, взятые от имен сих животных, ибо называли их Суиллиями, Порциями, Капрариями и Бубульками. Капрами называют коз, порками – свиней и проч.

Хотя Попликола был столь народолюбивый и умеренный в наказаниях законодатель, однако в важном преступлении весьма много усилил наказание. Он позволил законом умерщвлять без суда покушающегося на получение верховной власти. Убийца его объявляем был невинным, как скоро мог доказать умысел убитого им. Невозможно, чтобы стремящийся на таковое предприятие мог обмануть всех; но не невозможно, чтобы по открытии его намерения не предупредил он суд и не завладел всем. По этой причине закон позволяет всякому, кто только может, наказывать без суда того преступника, который мог бы уничтожить самый суд совершением своего злоумышления.

Попликола заслужил еще похвалу законом о сохранении казны общественной. Поскольку для продолжения войны гражданам надлежало вносить часть своих доходов, то Попликола, не желая управлять общественной казной сам, ни вверить ее своим приятелям, ни ввести в частный дом, сделал казнохранилищем храм Сатурна, в котором и поныне хранятся общественные доходы, и позволил народу избирать двух квесторов*, или казнохранителей, из молодых. Первыми квесторами избраны Публий Ветурий и Минуций Марк. Собрано было великое коли-

чество денег. При поголовном исчислении оказалось сто тридцать тысяч граждан, платящих подати, не считая сирот и вдов.

Устроив таким образом все дела, Попликола выбрал себе в товарищи Лукреция, отца Лукреции, которому как старейшему уступал первое место и ликторов, – честь, которая и по это время оказывается старейшим. Лукреций умер через несколько дней, и народ избрал в консулы Марка Горация, который правил с Попликолой до истечения года.

Между тем как Тарквиний возбуждал в Тиррении вторую против римлян войну, говорят, случилось некоторое великое знамение. Когда сей государь еще царствовал, то соорудил храм Юпитеру Капитолийскому. Строительство подходило к концу. По приказанию ли прорицалища или по собственному желанию Тарквиний повелел некоторым художникам тирренским и вейским поставить на вершине храма земляную колесницу; но вскоре лишен был престола. Тирренцы, сделав колесницу, поставили в печь. С ней не случилось того, что обыкновенно бывает с землей в огне, то есть сгущения и сжимания от испарения влаги; она вздулась, сделалась столь великой и вместе столь твердой, что с трудом можно было оную вынуть, разломав крышку и стены печи. Прорицатели думали, что знамение это было божественное, обещавшее счастье и могущество тем, у кого будет сия колесница. Вейенты решились не уступать ее требовавшим ее римлянам, говоря, что она принадлежала Тарквинию, а не изгнавшим Тарквиния. Через несколько дней у вейентов происходило ристание на колесницах с обыкновенным торжеством и великолепием. Увенчанный возница выводил тихо из ристалища победоносных коней. Вдруг они, испугавшись, без всякой видимой причины, по случаю или по некоторому божескому внушению, помчались к Риму, везя и возницу. Тщетно силившись удержать их вожжами или укротить голосом, он дал им волю бежать, был ими увезен до Капитолия и опрокинут близ ворот, называемых ныне Ратуменскими. Вейенты, удивленные происшествием, велели художникам отдать римлянам колесницу.

Храм Юпитеру Капитолийскому обещался посвятить Тарквиний, сын Димарата, во время войны с сабинянами. Тарквиний Гордый, сын или внук его, соорудил этот храм, но не успел посвятить, будучи изгнан из Рима незадолго до совершения оного. Когда же здание это приведено было к концу с приличными украшениями, Попликола желал чести посвятить его. Многие из сильных в республике тому завидовали; они менее оскорблялись другими почестями, ему оказываемыми как полководцу и законодателю, но чести посвящения, как ему не принадлежащей, уступить ему не захотели и побуждали Горация искать ее себе*. Попликола был принужден идти в поход. Противная сторона утвердила постановление, чтобы Гораций посвятил храм. Немедля проводили его до Капитолия, прибывая в уверенности, что в присутствии Попликолы не удалось бы восторжествовать над ним. Некоторые говорят, что по жребию военачальство досталось одному против его желания, а посвящение – другому. Можно заключить, как дело это происходило, по тому, что случилось при посвящении храма в сентябрьских идах, в самое полнолуние месяца метагитниона по афинскому счислению. Все собрались на Капитолии и пребывали в глубоком молчании. Гораций, по совершении всех обрядов, держась за дверь, по обычаю произносил установленные при посвящении молитвы. Марк, брат Попликолы, стоявший долго при дверях храма в ожидании этого мига, закричал ему: «Консул! Сын твой умер от болезни в военном стане!» Эти слова были неприятны всем тем, кто слышал их. Но Гораций, нимало не смутившись, сказал только: «Бросьте мертвого куда хотите; я не приемлю в печали участия»*, – и продолжал до конца посвящение. Это известие было ложно. Марк выдумал его, желая остановить Горация. Или он приметил вдруг обман, или, поверив столь жестокому известию, не был им поражен, – в обоих случаях твердость духа его удивительна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.